

Иероним Иеронимович Ясинский

Верочка



Иероним Иеронимович Ясинский

Верочка

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6707252

Верочка: 1884

Аннотация

«...Я был студентом, и Сергей Ипполитович обращался со мною по-товарищески, однако, без фамильярности. Я жил у него во флигеле, который стоял в великолепном липовом парке. От дяди я получал карманные деньги в неограниченном количестве. Он был мой опекун; мне едва пошёл двадцать первый год...»

Иероним Ясинский

Верочка

I

Топольки – это дворянский квартал в ***, полурусском, полупольском городе. Воздух тут прекрасный, множество садов; местность высокая и ровная. Там, внизу, на Почаевском проспекте, кипит торговля, снуёт люд, деловой и праздничношатающийся, гремят экипажи, а здесь и домов-то немного, народу ещё меньше. Дома – особняки, большею частью одноэтажные, окружённые деревьями. На тенистых улицах тихо, каменная мостовая порастает травой, зелёной как изумруд; и всюду царит приличная скука.

В одном из таких скучных домов жил мой двоюродный дядя, Трималов. Звали его Сергей Ипполитович. Ему было около сорока пяти лет, и наружности он был представительной – высокий, с большим горбатым носом, с длинной красной шеей и тёмной с проседью бородкой. Всегда я видел его в сюртуке; он был причёсан безукоризненно, с пробором по середине, и всегда на губах его играла не то благожелательная, не то насмешливая улыбка.

Я был студентом, и Сергей Ипполитович обращался со мною по-товарищески, однако, без фамильярности. Я жил

у него во флигеле, который стоял в великолепном липовом парке. От дяди я получал карманные деньги в неограниченном количестве. Он был мой опекун; мне едва пошёл двадцать первый год.

Дядя никогда не делал мне замечаний по поводу того, что деньги не держались у меня. Снисходительно улыбаясь, он бывало потреплет меня только по плечу, когда я, получив деньги первого числа, являюсь за ними ещё и десятого, и пятнадцатого, и двадцать седьмого – вообще как придётся, смотря по надобности. Должен сказать, что хотя я наперёд был уверен в снисходительности Сергея Ипполитовича, но не без робости я входил в его дорогой кабинет. Правда, эту робость я прикрывал, обыкновенно, напускной развязностью.

Я выразился: «дорогой» кабинет. Это не значит, что у дяди был кабинет, украшенный произведениями искусства, редкими вещами. Сергей Ипполитович не любил или, вернее, не понимал картин и предпочитал фотографии. Ни одной художественной бронзы, ни одного куса мрамора не было в доме. Но ему нравилась массивная мебель чёрного дерева, и его письменный стол сверкал серебряными вещами: драконообразными подсвечниками, чернильницей в виде русской избы, башмачками, лаптями; даже серебряный калач красовался на столе. В кабинете было много книг, в богатых переплётах, золотообрезных. В углу висела огромная икона, вся в серебре. Я до сих пор не решил, был ли

дядя религиозен, или эта икона находилась тут благодаря его страсти к серебру. Мне кабинет Сергея Ипполитовича не нравился. Вопиющий блеск этой роскоши смягчался только старинным полинялым ковром, который занимал весь пол и был светло-голубой в тёмных турецких цветах. Когда я входил к дяде, он поднимался мне навстречу и делал по этому ковру два неслышные вежливые шага.

Дядя был женат, но с женой не жил. Я видел её только в моём детстве. Меня тогда поразили её толстые красные губы. Она была незаконная дочь князя Г. и цыганки. Вышла она замуж за некоего Исаева, бросила его, прижила с адвокатом, который вёл ей дело о разводе, девочку, Верочку, вышла вторично за Сергея Ипполитовича и, наконец, поселилась в Париже, оставив свою дочь мужу. Она была вспыльчивая женщина, страдала от ничегонеделания, придиралась ко всем, и, помнится, последняя ссора её с дядей, положившая конец их сожителству, произошла за завтраком, некоторым образом из-за выеденного яйца. Дядя поднёс яйцо к носу, с целью удостовериться, не испорченное ли оно. Это движение показалось Анне Спиридоновне неделикатным и даже гнусным. Оттолкнув тарелку, она тут же, со сверкающими глазами, объявила Сергею Ипполитовичу, что ненавидит его. Должно быть, дядя не имел причин не верить ей; а может и то, что в течение семи лет он сам охладел к ней. Они расстались.

Верочка росла в доме дяди. В институт он её не отдал.

Сергей Ипполитович говорил, что без Верочки ему скучно будет. Воспитывали её гувернантки. Они часто менялись, и иногда их было по две. По вечерам он играл с гувернантками в преферанс; и так как они были обыкновенно хорошенькие – он не мог видеть некрасивых и старых лиц, – то он ухаживал за ними. По этому поводу о дяде ходили иногда странные слухи. Но я не стану повторять их.

Я поселился у дяди окончательно с пятого класса гимназии. Сначала со мной жили репетиторы; но потом я остался один. Первый репетитор, не ужившийся у нас, был студент четвёртого курса, юрист, малоросс, по фамилии Ткаченко. У него был низенький лоб, чёрные, густые брови, малоподвижная шея. Он не любил говорить по-русски. Вместо «что» всегда употреблял «що». И на всё у него были определённые взгляды, которые он считал непогрешимыми.

Защищать свои убеждения он не умел. Он обижался (что выражалось в сосредоточенном молчании), ежели ему возражали. На каждом шагу он выказывал презрение к «панам», насмешливо смотрел на серебряный калач в кабинете дяди, водил дружбу с кучером и садовником и ненавидел Топольки.

Сергей Ипполитович нашёл, что Ткаченко вредно влияет на меня. Однажды дядя внезапно заглянул во флигель. Он увидел меня в малорусском кафтане. На мне были широчайшие синие шаровары, стан перевязан красным поясом, грудь сорочки вышита. Я старался ходить немножко вразвалку как

наш садовник, и беседовал с Ткаченко о том, что судьбы Малороссии – это особая статья, а судьбы Великороссии – это тоже особая статья. Ткаченко лежал на диване и, от времени до времени, искусно плевал сквозь зубы.

– Что за маскарад, мой друг? – сказал дядя с приятной улыбкой. – Повернись! Нет, к тебе не идёт. Да и какой ты малоросс! Внук московского купца, сын русского генерала, Трималов! Разденься, прошу тебя... Не забывай, что ты ещё гимназист и обязан носить форму, присвоенную твоему званию, – прибавил он шутливо. – Г-н Ткаченко, вы чрезвычайно обяжете меня, если уделите мне пять минут для разговора... к которому, впрочем, я уж давно готовлюсь.

Результатом этого разговора было то, что Ткаченко уложил свои книги, записки, накинул на плечи *кобеняк*, молча пожал мне руку и уехал. При разговоре я не присутствовал. Но хотя я был уверен, что дядя грубости не сказал, однако меня оскорбило, что он обошёлся с Ткаченко как со слугой. Только слуг так прогоняют. И по бледным губам Ткаченко, нервно подёргивавшимся, когда он прощался со мной, я догадался, как страдала гордость этого человека.

Я два дня не говорил с Сергеем Ипполитовичем. Но он не заметил моего гнева и за обедом ласково смотрел на меня своими бледно-карими, выцветшими глазами. Тогда мне пришло в голову, что он любит меня и желает мне добра. Я пришёл в кабинет после обеда, и мир был заключён.

Было у меня потом ещё два репетитора: барич из бедных,

щепетильно наблюдавший за свежестью своих немногочисленных рубашек, щеголявший перчатками от Бергонье, духами от Огюста и вслух зубривший записки, и медик, отставной поручик артиллерии, Соколов.

Соколов был гигант, с обширным лбом, с дальнотзоркими голубыми глазами. Мне он нравился как воплощение мужества и красоты, и при нём я усердно учился и ещё усерднее читал. Чтоб услышать от него одобрителный отзыв, я всё готов был сделать. Я покупал книги, у меня составила́сь целая библиотека серьёзных сочинений; я жадно глотал их в надежде приобрести хоть часть сведений, которыми обладал Соколов. Я ревновал, когда приходили к нему молодые люди, или когда он уходил на всю ночь из дома. «Других он понимает с полуслова, – терзался я, – а со мной не говорит ни о чём, кроме „предметов“. Меня он считает мальчиком. Всю сегодняшнюю ночь он, может быть, провёл в спорах, от которых зависит участь прогресса. Но какого полезного помощника он мог бы найти во мне!»

Я, однако, боялся заявить ему об этом прямо. Мне казалось, он сам должен догадаться. Я худел, бледнел и в отсутствие Соколова старался подражать ему: задумчиво глядел в пространство, прямо смотрел всем в глаза, закидывал с лёгким высокомерием голову назад и, беседуя с Верочкой, которой было тогда лет тринадцать, поражал её невежественный ум массой цитат из Кетле, Прудона, Бюхнера, Спенсера, Лассаля, Маркса. Она с удивлением слушала меня.

Однажды ночью я и Соколов были разбужены в нашем флигеле необычным шумом... У Соколова пересмотрели все вещи, взяли его и увезли. Когда дядя, в мерлушечьем рединготе, прибежал во флигель, в тревоге, он уже застал меня только одного. Я плакал.

Соколов был моим последним наставником. Сергей Ипполитович испугался и хотел определить меня в пансион. Но я упросил его оставить меня дома. Решено было обходиться без репетитора. Так началась моя самостоятельная жизнь.

В тот день, когда я поступил в университет, я чувствовал себя счастливейшим человеком в мире. Огромная сводчатая аудитория, так непохожая на гимназические классы, казалась мне храмом. Студент! Как приятно звучало это слово! Ликующий приехал я домой. Я ждал торжества, праздника. Я думал, что встречу весёлые лица. Но угрюмо молчала тенистая улица. Ещё угрюмее казался Трималовский дом со своими столетними тополями и потемневшими львами по обеим сторонам генеральского герба, с обвалившейся штукатуркой. Я вошёл в ворота. Мёртвые листья желтели на каменных плитах двора. Тишина стояла кладбищная. Плакучие сосны и берёзы, перевесившиеся через чугунную решётку сада, лишь усиливали мрачность впечатления. Я вошёл в дом, прошёл оранжереей. Тяжёлый аромат цветов вдруг ударил мне в голову. И когда я отворил дверь в кабинет Сергея Ипполитовича, то увидел его вместе с Верочкой. Она сидела у него на коленях, и он нежно проводил рукой по её чёрным,

матовым волосам. Бледно-золотистый свет падал на неё из окна, плотно завешенного кисеей, и из-под её коротковатого платья выставлялись красивые ножки в белоснежных чулках.

Мне понравилась эта сцена. Дядя, сухой и холодный, каким я представлял его себе, рисовался в этой сцене нежным и любящим. Я пожалел его в его одиночестве. Ему скучно жить, разбито его сердце, и вот он привязывается к девочке, которая, в сущности, не может назваться его дочерью и на каждом шагу напоминает ему лишь о том, что с его женой были счастливы другие. Бедный дядя!

Я с умилением подошёл к нему. Верочка быстро подняла голову, посмотрела на меня влажным взглядом своих беспокойных чёрных глаз, оттенённых длинными, острыми ресницами, и всё её смуглое личико выразило смущение и испуг. Дядя спокойно посмотрел на меня. Верочка сделала движение, чтобы уйти, но он крепче обнял её и, обратившись ко мне, спросил:

– Поступил?

– Поступил, дядя!

– Надо денег?

– О... я не думал просить... я просто...

– После обеда получишь, – сказал дядя. – Ну, Верочка, дай Александру в награду поцеловать руку...

Я смеясь приблизился к Верочке. Дядя редко шутил в этих пределах. И сам я был так радостно настроен, что ис-

кренно хотел расцеловать и дядю, и Верочку. Верочка неловко протянула мне руку, тёплую, тревожную, и я поцеловал её в ладонь. Она спрятала голову на груди дяди. Щёки у меня вспыхнули, я повертелся, сказал несколько ненужных фраз, потрогал серебряный калач и ушёл. Отчего я застыдился – не знаю. Но мне бросилось в глаза, что Верочка – красавица, и что она уж не маленькая.

II

Всё на первых порах в университете кажется интересным. И гул шагов в асфальтовых коридорах, и профессор, читающий по тетрадке, и профессор импровизирующий, и вонь анатомического театра. Я поступил на естественный факультет, но меня тянули к себе и лекции приват-доцента, читающего о средних веках, и вечерние беседы сверхштатного профессора о медицине, – интересовала словесность, философия. С лекции профессора, читавшего о клеточке, я уходил на лекцию профессора, излагавшего новую книгу Леки, и, побывав в химической лаборатории, отправлялся слушать римское право. Я накупал книг, записок, приобретал вещи, казавшиеся мне по преимуществу студенческими, например: бухарский халат, трубку с саженым чубуком, гравюру, изображающую умирающего гладиатора, череп, кастет, гипсовый бюст Шевченко, шахматы, чучело филина, рога лося. Я говорил обо всём авторитетно; укорял литерату-

ру в неуважении к молодёжи, и знал, что приговор мой чего-нибудь стоит. Я не читал Фета, но смеялся над ним; говорил, что Гоголь – великий писатель и был бы ещё больше, если бы писал по-малорусски; стихи и романы я презирал. Я, однако, пробовал писать, проводил мучительные часы над сонетами в честь свободы. И когда сонеты в честь свободы не удавались, описывал восходы и закаты солнца.

Я посещал товарищей, товарищи посещали меня. Довольно скоро создалась у меня репутация «честного малого». Меня избрали казначеем секретной студенческой кассы. На сходках я произносил речи, в которых обыкновенно запутывался, потому что не был рождён оратором.

Вечерами студенты собирались небольшими компаниями – гуляли и пели в городском саду, играли на бильярде в Кафе-франсе, пили пиво и ходили по одной отдалённой грязной улице из дома в дом. Эти дома имели печальный вид, фонари зловеще горели над входом, и одеревенелый тапёр колотил по жёлтым клавишам среди роя молчаливых девушек. Иногда я возвращался домой навеселе. На другой день у меня болела голова, за чаем Верочка указывала на мои опухшие веки. Я зевал, говорил: «Да, кутнул... Было дело!» – и чувствовал себя взрослым человеком.

Так прошёл октябрь, ноябрь.

Земля была мёрзлая и звонко стучала под ногами, когда бывало утром гуляешь по Тополькам. Я гулял с собакой. Огромный молодой пёс, толстый как баран, шёл, оскалив

чёрный рот, и умными глазами смотрел на меня. Пустынные улицы дремали утренним дворянским сном. Снег ещё не выпал. От лёгкого мороза пощипывало щёки. И когда я являлся к чаю, раскрасневшийся и бодрый, Верочка, мне казалось, смотрела на меня дружелюбнее, чем обыкновенно.

Гувернантка Верочки, m-lle Эмма, держалась в отношении меня сухо-официального тона. Это была девушка лет двадцати, с талией как на модной картинке, с таким же модным, красивым, но безжизненным лицом; брови были дугой, веки – чересчур прозрачные – опущены, и из-под верхней губы чуть-чуть выставлялось по клыку. Она не подавала мне руки, допускала разговоры только о погоде. Я начинал скучать в её присутствии чрезвычайно скоро. А когда приходил дядя, встававший позднее, и вежливо пожимал мне руку, скука принимала опасные размеры.

Случалось, я совсем не являлся к утреннему чаю. Но тогда мне целый день было не по себе, чего-то недоставало. Приходить по утрам в столовую, смотреть, как сидят вокруг мельхиорового самовара наши домашние, а он шипит и бурлит, – видеть Верочку, ласкающую своей тоненькой, смуглой ручкой моего кудрявого Беппо, и иногда перекинуться с ней двумя-тремя фразами, – глядеть как она ест, пьёт, как невзначай поправит волосы грациозным движением руки или вдруг улыбнётся и устремит на тебя протяжный, горячий взгляд, который тут же и потухнет, и уже в нём играет, по-видимому, иное, но, пожалуй, такое же неопределённое чувство –

это сделалось привычкой, без которой мне было бы трудно обойтись.

Постепенно я пришёл к заключению, что веду слишком рассеянную жизнь, что мало сижу дома. Я перестал посещать студенческую столовую, уклонялся, по возможности, от попок и от бильярдной игры.

Когда Верочка сидела за пианино, я переворачивал ей ноты. В театре я дарил ей бонбоньерки с конфетами, надевал на неё шубку. Перед обедом, в хорошую погоду, я никогда не пропускал случая сесть против Верочки в ландо и целый час кататься с нею по гремящему Почаевскому проспекту, залитому солнцем и сверкающему золотыми вывесками, зеркальными стёклами магазинов, модными экипажами, пёстрыми нарядами дам. Дядя сидел возле Верочки, в бобровой шинели, и любезно кланялся рукой знакомым. Только встречаясь с генерал-губернатором, он брался за шляпу, и любезное выражение его лица сменялось почтительно-строгим. Верочка даже в шубке казалась тоненькой, стройной, и из-под её красивой шляпки всегда, бывало, вырвется прядь волос и бьёт её по смуглым щекам, а она смеётся... и я смеюсь...

Был ясный день. Солнечный свет розовыми полосами косо ложился по паркету столовой, и деревья глядели в окна. Мы только что сели обедать. Все были веселы. Даже m-lle Эмма улыбалась. Дядя прилично шутил. Лишь Павел прислуживал с самой невозмутимой физиономией, выбритый и важный.

Так как я был либеральный молодой человек, то постепенно мне удалось придать беседе либеральный оттенок. Дяде не нравились либеральные разговоры. Он перестал шутить, беспокойно поглядывая на Верочку. Но Верочку интересовали подробности, которые я передавал о местной лавре и лаврских святых. Студенты первого курса питают особенную склонность к колебанию веры в чудеса.

Что-то задумчивое мелькало в наивном взгляде её горячих глаз. Верочка точно выросла. И я почувствовал, что сердце моё сильно бьётся.

В январе ей должно было исполниться шестнадцать лет. Решительно, она была красавица, с тонкими чертами, с благородным разрезом удлинённых глаз. Румянца почти не было, но губы прелестного рта атели как коралл... Лебединая шея, чудесный овал лица... И только нос, прямой как у античной статуи, был немного толст.

Я смотрел на Верочку, радуясь, что она такая милая и славная. Даже руки её, красноватые и как бы застенчивые, нравились мне невыразимо...

– Перестань, Александр, – сказал, наконец, дядя. – Религия есть религия.

– Но, дядя, пусть он расскажет, как это делают...

– Нет, уж, Александр, довольно с тебя... не рассказывай... Помнишь – «аще кто соблазнит единого от малых сих, уне есть ему»...

– Помню. Но Верочка разве дитя?

После обеда я заперся в своём флигеле. Я лежал на оттоманке и курил трубку. Я думал о Верочке, но голова кружилась у меня от табачного дыма, и ничего определённого не было в этих мыслях. Скорее то были ощущения, а не мысли. Бледный вечерний сумрак лился в итальянское окно, очертания предметов исчезали в тусклом свете. Над книжным шкафом белелся череп неподвижным пятном. Рога лося выделялись на светлом фоне обоев. Беппо шумно чесался в углу, под бюстом Шевченко.

Подложив под голову гарусную подушку, я закрыл глаза. Но едва я стал дремать, как увидел Верочку. Она стояла, точно живая, точно наяву; я смотрел на неё, со странной, сладостной тоской, слышал, как она дышит, что-то говорит, но что – я не мог уловить. Всё было так натурально, и только чёрные стрелы её ресниц были неестественно длинные.

Я хотел обнять её, но она выскользнула из рук и убежала. Я проснулся. Было совершенно темно. В комнате похолоднело. Я лежал некоторое время, не переменяя позы, со смутной и, можно сказать, дурацкой надеждой, что, пожалуй, этот сон сейчас превратится в действительность. Но слышался храп Беппо – мечта улетела, я встал и зажёл свечку.

Я подошёл к письменному столу, с твёрдым намерением чем-нибудь заняться. Но заниматься я не был в состоянии. С тоской взглянул я на книги и записки и отодвинул их от себя. Лёгкий озноб пробежал по телу, когда я вспомнил сон.

Чтоб рассеяться, я долго ездил по городу, играл на бильярде, наконец, часов в одиннадцать отправился в театр.

Главная пьеса уже была сыграна, и шёл водевиль. В ложах суетились, одевались. В одной из них стоял дядя и держал знакомую мне шубку. Верочка, в модных белых перчатках, опиралась на бархатный барьер. Она глядела на сцену. Ей хотелось дослушать водевиль. М-ле Эмма держалась в глубине ложи. Я не спускал глаз с Верочки и завидовал дяде: он поможет одеться ей. Я дрожал. Я был в восторге, что вижу её, что сейчас пожму ей руку. Я вбежал в ложу. Верочка уже оделась и вышла, об руку... с Сергеем Ипполитовичем.

III

На Рождество Сергей Ипполитович уехал с Верочкой и м-ле Эммой в Петербург. Он не предложил мне ехать вместе, и в последние дни я стал холодно относиться к нему. Но он холода моего, по обыкновению, не замечал.

Снег, наконец, выпал. Солнце сияло, и сани скрипели, когда я поехал провожать Верочку на вокзал. Расставаясь, она крепко пожала мне руку, и первая поцеловала меня, а затем шаловливо подставила обе щеки для моего поцелуя. Чтоб скрыть волнение, я болтал и смеялся, обращаясь, главным образом, к м-ле Эмме, которая в ответ чопорно улыбалась.

Поезд тронулся.

Я одиноко стоял на платформе. Странная досада закрады-

валась в мою душу. Болезненно сжималось сердце, и на минуту сияние снежного дня померкло в набежавшей слезе.

– А я вас ищу. Они уехали?.. Какая жалость!

Это проговорила Ольга Сократовна Поволоцкая, наша соседка. Её бархатная ротонда вся была в снежной пыли, и большое лицо с полукруглыми густыми бровями покраснелось от мороза.

– Да, вы опоздали, – сказал я с притворной весёлостью.

Но Ольгу Сократовну нельзя было надуть. Была она опытная и, по крайней мере, по отношению ко мне, отличалась пронизательностью, которая удивляла меня и сердила. Ей было около тридцати лет, и муж у неё был старый и какой-то незаметный, хоть в больших чинах. Она постоянно приставала ко мне, вышучивала меня и называла Сашей, по праву старинного знакомства. Но её брови и взгляд её красивых сверкающих глаз, бегающий и злой, не нравились мне. Не нравилось мне также, что она была выше меня ростом, и что при ней я становился застенчив. Она подозрительно улыбнулась, когда я рассмеялся, и, покачав головой, бесцеремонно взяла меня за руку.

– Пойдёмте. Эти письма надо положить в общий конверт и послать Сергею Ипполитовичу *poste-restante* [*до востребования – фр.*]. А затем я заберу вас к себе. Я разгоню вашу тоску, бедный Саша, и накормлю вас. Теперь я ваш опекун. Помните, что вчера сказал дядя? Послушание и послушание!

Отправив письма, она велела сесть мне в сани. Мы полетели стрелой на толстых чёрных конях, покрытых пунцовой сеткой. Тополи белоснежными колоннами стояли по улицам, готические дома красивыми силуэтами выделялись на лазури. Я ушёл в себя, плохо слышал, что говорила Поволоцкая, и всюду чудились мне глаза, невинные и прекрасные как две звезды. Очаровательный город, в своём новом зимнем наряде, казался мне печальным, весёлая и заигрывающая Ольга Сократовна – олицетворением тоски.

Скучный обед... Скучные разговоры...

Наш город разделён на несколько враждебных лагерей – польский, немецкий, русский, украинский, еврейский. Все ненавидят друг друга. Аристократические Топольки выше такой ненависти, они сложились из разнородных элементов, и национальный антагонизм тут не имеет места. Но, заимствуя свой свет из генерал-губернаторской канцелярии, они присвоили себе право полицейского надзора за воинствующими партиями и строго выслеживают всякую интригу. Они в оба смотрят за нравственностью даже отдельных лиц, имеют своих шпионов во всех лагерях, в университете, в духовной академии, в гимназиях, и нигде как в Топольках не поднимается столько крика против безвредных увлечений местных патриотов и такой травли всего, что не пахнет рутиной, не раболепствует, что мыслит и чувствует по-человечески.

Исключения, разумеется, есть. Но Поволоцкие исключения не составляли.

За обедом было два кружка. В одном говорили о городских делах и ораторствовал профессор Флекензумпф, рыжий, с вкрадчивыми манерами. Поволоцкий уныло слушал его и с обиженным выражением шевелил старческими брытыми губами. Раза два, однако, глаза его вспыхивали, и он, проницательно взглянув на собеседника, беззвучно смеялся. Конечно, дело касалось какой-нибудь «интриги».

Средоточием другого кружка была Ольга Сократовна. Она старалась развлекать меня, заставляла пить и, может быть для того, чтоб возбудить во мне хоть маленькую ревность – у меня шумело в голове, и я имел смелость допустить эту мысль, – после обеда стала особенно любезна с другим гостем своим, доктором Мункиным. Мункин – молодой человек, с огромными кудрями, с лицом поэта, которое портила длинная улыбка, собиравшая кожу на его щеках во множество морщин. Улыбался он то и дело и показывал белые зубы и часть дёсен. Говорил он немного, и эта отвратительная улыбка заменяла у него иногда ответ на вопрос. Мункин держал себя с Ольгой Сократовной фамильярно как, вероятно, со всеми дамами. Он был дамский доктор, практика у него была обширная, но в трудных случаях он в искусство своё переставал верить и отказывался лечить. О нём ходили тёмные слухи... Впрочем, я мало знал его.

Мне было не по себе. Мункин хвалил волосы Ольги Сократовны и причесал её как парикмахер. Он знал все заколки её будуара, пошёл и умыл руки как дома. Он точно не

волосы причесал молодой даме, а сделал операцию.

И фамильярность Мункина, и странный огонёк в глазах Ольги Сократовны, бесцеремонно устремлённых на меня, и разговор за обедом, и розовый свет фонаря, и какой-то влажный, тяжёлый аромат, который отделяли в будуаре ковры, мебель, драпировки, – всё это производило на меня угнетающее впечатление. Мне хотелось поскорей домой, залечь и думать о Верочке – только... Тут было душно.

Я ушёл, но не прошло и часа, как горничная Поволоцкой прибежала ко мне с запиской. Ольга Сократовна звала провозжать её в концерт...

Мы поздно приехали в купеческое собрание и заняли стулья. На эстраде пела виолончель, и пожилой человек во фраке водил смычком, а публика замирала от восторга. Это был виртуоз, европейская знаменитость. Звуки то страстно рыдали, то слышалась глубокомысленная фраза, повторявшаяся на все лады раз двадцать точно вопрос, не находящий ответа. От этих выпуклых, красивых, могучих и вместе нежных звуков странная дрожь пробегала по мне. Стулья стояли тесно, и иногда я чувствовал, как колено Ольги Сократовны прижималось к моему. Очарование исчезало.

На обратном пути Поволоцкая заметила:

– Саша, вы всё грустите. Перестаньте, мой друг.

– Совсем я не грущу. С какой стати я буду грустить?

– Такой уж у вас грустный темперамент... Жаль вам Верочку?

– Верочку? – переспросил я.

«Вот пристала».

– Или, может, m-lle Эмму?

На Девичьей горе стал дуть ветер прямо в лицо. Я отвернулся, поднял воротник и молчал. Но Ольга Сократовна тоже воспользовалась ветром, чтоб сесть иначе, и я почувствовал на минуту теплоту её дыхания и, при блеске газового фонаря, увидел две тёмные искры её глаз, с тем же тревожным выражением как и год назад, когда она вдруг поцеловала меня. Я тогда обиделся. Теперь я ответил ей нахмуренным взглядом. Она расхохоталась.

– Мальчик! Разозлитесь, пожалуйста!

Я напряжённо улыбнулся.

– Этак-то лучше. Так вы не ревнуете?

– К кому?

– К дяде...

Я промолчал.

– Уф, какой ветер! Давайте вашу руку.

Мы подъехали к дому, я помог ей сойти; и как она ни убеждала меня ужинать вместе, я наотрез отказался.

IV

Павел, сонный, но величественный, снял с меня пальто, и пока я входил в зал, он успел зажечь лампу. Как скучно, однако, в этом зале...

Не дальше, как сегодня утром слышался здесь Верочкин смех. Солнце горело, и всё её молодое яркое лицо было залито тёплым светом. Мне стоит закрыть глаза, и я вижу её снова.

Но я всё её вижу с дядей и m-lle Эммой. Её стерегут, быть может, подозревают мою страсть, а быть может...

В самом деле, что это сказала Поволоцкая?..

Мне сделалось стыдно, я засмеялся. Поволоцкая – кокетка, злая и чувственная. Ей просто хочется расшевелить меня, раздражить. Я терпеть не мог женщин вроде Ольги Сократовны, потому что теоретически я ненавидел чувственность.

Эта Ольга Сократовна всё подводит к одному знаменателю. Высокая и чистая любовь, свежая и молодая, непонятна ей, и она цинически (сердито думал я) издевается над моим робким, стыдливым чувством, которое угадала во мне со свойственной ей проницательностью.

Но пусть она хлопочет как ей угодно, пусть клеветает исподтишка – не добьётся она от меня ни словечка, и не выдам я ей своего секрета. Тем более, что до последнего момента я ещё и сам не отдавал себе отчёта, что это за секрет такой. Он уютился в самом сокровенном тайнике души моей... Я берёг его, лелеял, боялся облечь в слово; потому что слово слишком грубо для него...

Размышляя таким образом, вошёл я в дядин кабинет, где в её отсутствие должен был спать. На турецком диване была приготовлена постель. Я отпустил Павла и часа три, если не

больше, не мог заснуть.

Мысленно я мчался за курьерским поездом, уносившим Верочку в туманную даль. Полугрезы, полумечты обступали меня со всех сторон, и голова горела; среди невозмутимой тишины я слышал, как неровно бьётся моё сердце, как стучит в висках. Губы пересохли.

Мне не лежалось, не сиделось, и сунув ноги в туфли, я стал ходить. В зале теперь было темно. Меня потянуло в этот мрак. А из зала потянуло в Верочкину комнату.

Я взял свечку и с тоскливым и робким чувством вошёл туда.

В этой комнате были полукруглые окна, лапчатые филодендроны пышно разрослись в углу, за бархатным диванчиком, и одеяло на узенькой белой с позолотою кровати было огненно-красное.

Жадно смотрел я кругом. В качестве молодого естествоиспытателя, я отрицал душу; но мне казалось, однако, что часть Верочкиной души носится здесь, – аромат, отделяемый туалетом, кружил мне голову.

Однако, зачем я пришёл сюда? Мне показалось, что я пришёл с определённою целью и вдруг забыл, с какою. Или и в самом деле только затем, чтоб взглянуть на эту кокетливую постельку, подышать этим сонным пахучим воздухом?

Я рассеянно поднял глаза на стены, оклеенные тёмными дорогими обоями. На них висело много фотографий. Я их знал, видел уже раньше. Но тем не менее я стал их рассмат-

ривать, всё также рассеянно, небрежно, точно впросонках.

Верочка должна была любить Сергея Ипполитовича, он был её благодетелем, вторым отцом. Немудрено, что фотографии эти представляли самую полную коллекцию его портретов, да, вероятно, и единственную. Вот он в мундире студента конца шестидесятых годов. Вот он в широкой соломенной шляпе и с посредническим знаком. Был он и в камер-юнкерском мундире. На одном портрете он в шинели, на другом – во фраке, и в руках держит статуэтку или свёрток бумаги – трудно разобрать. Даже над кроватью Верочки висит в бархатной раме портрет Сергея Ипполитовича, из самых недавних, с ласковым и скептическим выражением благообразного лица. Портрет был большой, и этой улыбки нет на тех фотографиях.

«Отчего нет?» – машинально задал я себе вопрос. Поставив несколько минут посреди комнаты, я также машинально вышел. В голове шумело, я шатался как пьяный, и это полусонное состояние опять помешало мне сообразить, зачем именно приходил я в Верочкину комнату, хоть смутно мне продолжало казаться, что цель была, и я достиг её, наконец.

Было три часа. Я крепко заснул и видел отвратительные тяжёлые сны, которые тем, впрочем, хороши, что оставляют по себе лишь неясное воспоминание. Какая-то ужасная мысль, мерзкая как преступление, всю ночь мучила меня. Должно быть, я стонал, плакал: подушка моя была в слезах. Может быть, сумасшедшим приходят идеи, от которых

они содрогаются, когда выздоравливают, но хорошенько их вспомнить не могут, потому что нормальный мозг совсем не то, что больной, и думает иными образами и красками. Я проснулся дрожа и рад был, что рассеялся безобразный туман диких сновидений. День был солнечный как и вчера, а на душе у меня было скверно. И когда, одевшись, я посмотрел на себя в зеркало, мне показалось, что я сильно похудел и побледнел за эту проклятую ночь.

С утра в доме началась чистка и мойка, обычная предпраздничная возня. Я вышел и долго бродил по Тополькам. Мне хотелось освежиться. Но напрасно любовался я с Университетского спуска чудным пейзажем, в котором яркие солнечные краски и лёгкие, как лунный свет, тени, твёрдые контуры домов и тонущие в розовой дымке дали, белизна снега и лиловые пятна далёких садов, холодная лазурь неба и горячие искры на церковных крестах, – всё смешалось в гармоничное целое, в разноцветный туман. Тоска сосала мне грудь.

Я вернулся в свой флигель. Мелкие, ничтожные факты всплыли в моей памяти помимо воли. Вспомнилось всё, что только могло вспомниться о Верочке... и вдруг странная тревога овладела мною.

Сначала это была чисто-физическая тревога, безотчётная и бессознательная, и я быстро заходил по комнате. Беппо вообразил, что я заигрываю с ним, и с лаем стал бегать взад и вперёд. Я ударил его. Беппо раздражал меня, я всё никак

не мог сосредоточиться на чём-то. Беппо обиделся и замолк, а я продолжал ходить. Вспомнил я вчерашние неопределённые намёки Поволоцкой... Может быть, это и есть искомое *что-то*?

Я накинул плед и отправился в дом. Всё было вычищено, вымыто. Ни пылинки. В комнате Верочки вещи были расставлены в другом порядке. Тонкий аромат духов, которые употребляла Верочка, исчез. Стоял сырой, неприятный запах. Я взглянул на постель. Снимая со стены ковёр, сломали колечко в портрете Сергея Ипполитовича. Этот портрет, в светло-зелёной бархатной раме, лежал теперь на подушке и прямо смотрел на меня насмешливым, счастливым взглядом. Я внезапно возненавидел его. У меня потемнело в глазах, я схватил его и ударил о пол. Он попал на дорожку и не разбился. Тогда я раздавил его каблуком.

Павел, в отворённую дверь, вежливо смотрел на эту сцену.

Вечером я был уже далеко. Я ехал в Петербург, меня трясла лихорадка, и я сам не был хорошенько уверен, в здравом ли я уме.

V

Станции мелькали, хрипло свистел паровоз. Поезд летел на всех парах, и встречные поезда проносились мимо, в сумраке мглистого вечера точно какие-то гремящие метеоры. Но мне казалось, что мы тихо едем. На одной станции поезд

простоял лишние минуты. Я вышел из себя, ругал железнодорожные порядки, хотел записать жалобу в книгу, – и не успел: колокольчик забил, я со всех ног бросился в вагон. Всю ночь я не спал. Я ломал пальцы и глядел в окно тоскующим взглядом на бесконечный мрак, расстилавшийся передо мною. Где-нибудь на горизонте мерцал огонёк – это усиливало мою тоску. Тоска и бешенство, бессильное бешенство и опять тоска. От уверенности я переходил к сомнению. Ясно поставить обвинение против Сергея Ипполитовича я боялся. Я не хотел осквернить определённым подозрением образ Верочкин. Но она была так невинна, а Сергей Ипполитович был такой опытный человек! Сергей Ипполитович вечно с ней. Он целует её, держит у себя на коленях... Я кусал губы до крови.

Но потом я соображал хладнокровнее, взвешивал всевозможные мелочи, вспоминал – и ничего не мог построить в улику *им*, ничего, что хотя бы косвенно обвиняло их. Дядя втрое старше Верочки. Он, по справедливости, имеет право на её привязанность: относится к ней как отец. Ведь, меня же, ещё не так давно, трогало это отношение! Я могу очутиться в смешном положении ревнивого мальчишки. Велика беда, что старик приласкает дочь! Мне делалось стыдно, гневное возбуждение исчезало, и я с недоумением прислушивался к мерному шуму поезда, с недоумением смотрел на искры, бороздившие чёрный воздух. Я спрашивал себя: зачем я еду в Петербург?

В ответ продолжало ныть сердце... Меня тянуло вперёд, к *ним*, неудержимо. Доводы рассудка уступали напору чувства, которое шептало мне, что я прав. Эта бессознательная логика приводила нелепые доказательства; они не были облечены даже в определённые словесные знаки, и тем не менее покоряли меня; не были убедительны, но били прямо по нервам.

Из-за дымчатых туч глянул месяц и осветил белые равнины бледным светом, в котором деревья казались быстро бегущими назад косматыми призраками. Раздвинулась даль. Потом опять насунулся мрак. Пошёл снег.

В вагоне было душно. Фонарь под зелёной шёлковой ширмочкой бросал на лица спящих пассажиров тёмно-жёлтый свет. Там торчала острая бородка закинутой на бархатную спинку физиономии франтика; там толстая дама спала, раскрыв круглый рот; девушка свернулась клубочком, плотно подобрав платье под ноги. Мысль, что могут увидеть её ноги, должно быть, не даёт ей покоя, и она, сквозь сон, постоянно протягивает к ним руку. И я устал. Это сонное царство заставляло и меня подумать об отдыхе. Я даже примостился поудобнее, но не заснул.

Щека моя тёрлась о жёсткий бархат высокого кресла, и я лежал в тоскливой истоме дорожной бессонницы, постоянно поддерживаемой мучительными думами.

Весьма возможно, что всё это окажется напрасной тревогой. Эта история должна кончиться пустяками. Я скажу Ве-

рочке: «Я люблю тебя». Она ответит: «И я тоже люблю тебя». Тогда я расскажу, как я летел в Петербург, – и мы рассмеёмся. Дядя будет слушать, и в свою очередь расхохочется, затем потреплет меня по плечу и проговорит: «Ах, ты!» Я так живо представил себе лицо дяди, вымытое душистым мылом, с изящно подстриженной бородкой и усами стрелкой, вежливое и умное, что подумал, уж не сплю ли я. Но как раз против моих глаз темнел бархат кресла, со втянутой внутрь пуговицею; дрожал и стучал вагон. А пока я проверял свои впечатления, фигура Сергея Ипполитовича слегка расплылась, и я уж его воображал себе вдвоём с Верочкой: она с мольбой протягивает ко мне руки, а он обнял её точно фавн нимфу и, хвастливо прищурившись, смотрит на меня. Я вскочил, озираясь.

В вагоне те же лица. Тот же неприятный свет падает на них. То же безмолвие и безобразие тревожного сна на скорую руку. Франтик скорчился. Толстая дама качает головой. Барышня обеими руками придерживает подол.

Опять я лёг и опять не заснул. Так продолжалось до рассвета, весь день, до следующего вечера и снова всю ночь – до нового рассвета. Уж перед самым Петербургом вздремнул я часа два. Сон был крепкий. Сначала я ничего не видел. Потом мне приснилось, что я в толпе мужиков, опасливо работаю локтями, бегу, но не могу протолкаться. Меня ещё не заметили, но я знаю, что, если заметят, мне несдобровать, потому что я барин и учусь в университете. Протискиваясь впе-

рѣд, я слышу, как сговариваются они против меня. Я ослабел, у меня стали млеть ноги от ужаса и ожидания какой-то подлой пытки, которую придумала мне эта рассудительная и сосредоточенно-ограниченная толпа. Вдруг я увидел, что молодица в сарафане и с зобом пристально смотрит на меня. Я упал и стал просить пощады. Тогда шум голосов превратился в воющий, пронзительный гвалт, в чудовищный стон. Тысячи рук протянулись ко мне... Молодица подбежала... близко-близко... Я хотел схватить горсть земли и бросить молоднице в глаза. Но пальцы скользили по влажной почве точно по бархату...

И когда, наконец, я, сонный и измученный, поднял голову, артельщик в белом переднике стоял предо мною в пустом вагоне, серый день лился в окно, и я с трудом понял, что я в Петербурге, на Варшавском вокзале. Багажа у меня не было, кроме небольшого ручного сака; артельщик проводил меня до извозчика.

Кажется, целый час ехал я по бесконечным набережным бесконечных каналов, мимо колоссальных домов ничтожной архитектуры и тем не менее придающих общей картине города величавый характер, мимо мостов, мимо церквей, которые кажутся громадными только издали, мимо гостиных дворов, занимающих целые кварталы, – и всё время чувствовал себя как впросонках. Свинцовое небо низко нависло над столицей. В *** у нас был отличный санный путь, а тут мостовую покрывал слой грязи, деятельно сгребаемой дворни-

ками в кучи. В эту грязь редкими хлопьями падал мокрый снег. Прямые как лучи улицы пересекали город, теряясь в тумане.

Я был первый раз в Петербурге. Но я равнодушно смотрел кругом на каменные громады, твёрдыми контурами выступающие из этого бледного тумана, – мысль о Сергее Ипполитовиче и Верочке опять овладела мною. Дядя не любил гостиниц. Адреса он не успел мне прислать. Он должен был нанять где-нибудь на Невском проспекте меблированную квартиру, а может быть, в Большой Морской. Так он предполагал. Очувтившись в центре города, среди блестящей сутолоки экипажей, я растерялся: куда же ехать? Извозчик вопросительно поворачивал ко мне своё рыжее, бородатое лицо.

– Поезжай, братец, туда! – сказал я, указав на подъезд с фонарями и с золотой вывеской под стеклом: «Меблированные комнаты».

«Всё равно, – думал я, – надо же куда-нибудь приткнуться и сообразить на свободе, что мне делать».

Я взял первую комнату, которую мне показали. Она выходила на улицу, где уж в серой мгле горели фонари. Окно было сплошное зеркальное стекло. Вся комната была в тёмных, должно быть, малиновых драпировках, на полу постлан большой ковёр.

Оставшись один, я, вместо того, чтоб соображать и начать действовать, прилёг и вдруг заснул. Проснулся я только на другой день.

Было морозное утро. Белый отсвет снега падал на потолок, вместе с движущимися тенями людей и экипажей.

Вошёл номерной – принёс мне чай и завтрак. Два дня я не ел. Когда я насытился, бодрое чувство разлилось по моим жилам; но вместе с тем я спокойнее и холоднее, чем во время дороги, взглянул на своё положение. «Во всяком случае, надо их отыскать, – решил я. – Буду следить за ними издали. Если увижу, что ещё можно её спасти – спасу».

Стена, отделявшая мой номер от соседнего, была тонка: до меня иногда долетали оттуда обрывки женских голосов, и раз почудился не то смех, не то плач. Кто-то заиграл на фортепиано. Игра была похожа на Верочкину игру, и пьеса была её любимая. У меня сильно забилося сердце. То, что *они* так близко, испугало меня...

«Они?.. Неужели они?»

Я позвал лакея.

– Любезный... кто здесь... рядом... занимает номер?

Лакей отвечал:

– А не могу знать-с... Два дня, как приехавши-с... Не успели-с о себе ещё заявить-с... Господа, видно, так себе-с... Три комнаты сняли-с... Кареты не берут... Барин, при их дочь и гувернантка-с... Одежда на них очень хорошая-с.

– Барышня этакая... – блондинка, брюнетка?

– Не очень заметил-с... Ихнего пола тут большое множество-с... Я же недавно женился-с... Как будто блондинка-с, – прибавил он, припоминая.

– Не брюнетка ли?

– Пожалуй, что брюнетка-с.

– А барин – с бородкой? Седенький? Этак, с проседью?

– Нельзя сказать... С бородкой – верно-с. Лицо авантаж-ное-с.

– Ступайте, узнайте, пожалуйста, как его фамилия. Только не говорите, что кто-то интересуется. А так, стороной... Вот вам рубль.

– Мерси. Очень хорошо-с. У нас на доску всех записывают-с. А ваша фамилия как будет-с?

Я назвал себя.

По уходу слуги, явился посыльный и принёс справку: статского советника Сергея Ипполитовича Трималова на жительстве в городе С.-Петербурге не оказалось. Теперь, когда я был почти уверен, что *они* за стеной, меня это не огорчило. Я вышел на лестницу и отыскал доску. Мой номер был седьмой, рядом со мной – девятый. В девятом номере жил Гримайлов. Кровь бросилась мне в голову. Фамилия «Трималов» была, очевидно, искажена неграмотной рукой номерного. Нельзя было в этом сомневаться. Ещё больше укрепился я в этой мысли, когда, проходя через час и взглянув на доску, увидел, что в свободной клетке седьмого номера уже стоит моя фамилия и написана так: «Горималов». Трималов не успел отдать документа, и вот почему о нём ещё нет сведения в адресном столе. Но случай поселил меня с ним под одной кровлей.

Что-то будет!?.

VI

Если бы два дня тому назад, или даже день, очутился я в столь близком соседстве с *ними*, я знал бы, что надо делать. Тогда я был полон решимости, и во мне всё кипело. Не могу сказать, что бы именно я сделал, но, во всяком случае, не сидел бы сложа руки. Но, хотя сердце моё билось сильнее, чем обыкновенно, однако, теперь не было уже той энергии. Я как шпион прикладывал ухо к стене, ловя каждый звук у них. Вечером их долго не было дома, а когда они вернулись, то, должно быть, сейчас же легли спать. Вероятно, они были в опере или в собрании или катались: мне показалось, что они приехали на тройке, которая несколько минут побрякивала у меня под окном бубенчиками. Может быть, они ездили в какой-нибудь загородный трактир.

Когда где-то в коридоре часы пробили два, я, с сокрушённым сердцем, лёг в постель.

Если была тонка стена в большой комнате, то в спальне она была совсем картонная. Спальня эта соприкасалась, очевидно, с такой же спальней девятого номера, потому что я слышал, как там кто-то лёг на кровать и некоторое время шумел бумагой, – читал газету. Когда раздался кашель, я вздрогнул. Кашель *его!* Я затаил дыхание. Минут через десять *он* стал что-то шептать. Право, я готов был подумать, он

молится. Это был набожный, торопливый шёпот. Затем он задул свечу и повернулся на кровати. Вскоре он захрапел. Я подождал. Всё мирно, всюду невозмутимая тишина. Свечка моя догорала, и пламя, высоко вытягиваясь жёлтым языком, вдруг бессильно падало, бледнея и синея...

На другой день шум голосов за перегородкой разбудил меня. Было уже не рано. *Он* сердито о чём-то говорил. *Она* плакала. Изредка вмешивался голос гувернантки. Я едва успел одеться, руки мои дрожали.

Вошёл Иван и начал говорить. Я ничего не понял – всё моё внимание было сосредоточено на *них*. Должно быть, он докладывал о моих соседях. Я механически уловил одну его фразу: «Жемчужную брошку-с потеряли-с... Вещь, разумеется, стоящая-с»... и закричал ему негромко: «После! После!» Иван улыбнулся, сообразил, что я хочу *подслушивать*, и стал поодаль, пытливо глянув на перегородку, откуда нёсся по-прежнему крупный разговор. Ничего нельзя было разобрать. Иван бесил меня своим присутствием. Мне было стыдно, и казалось, он мешает слышать эти странные звуки, от неопределённого гула которых горел мой мозг. Вдруг явственно послышался удар рукой точно по щеке, и за ним последовал пронзительный крик девушки. Удары стали повторяться, сопровождаясь злым, коротким ворчанием *его*. Иван стоял на прежнем месте и улыбался с интересом. Я пролетел мимо него, вскочил в соседний номер; двери с треском растворились передо мною. Я чувствовал себя зверем. Глаза

мои налились кровью, когда я бросился на *него*. Он отскочил в испуге и смущении.

То был человек лет шестидесяти, с беленькой бородкой и вдавленным носом. Девочка, которую он наказывал, была белокурая, очень полная, может быть, лет четырнадцати, даже тринадцати. Гувернантка – розовая старушка, в чепчике.

Одним словом, ничего похожего на *них*!

Я смешался и остановился как вкопанный. Старик, видя, что я растерялся, возвысил голос. Он начал с заявления, что это его собственная дочь, которую сам Бог велел ему учить. Дочь всхлипывала. «Её ещё не так бы надо было», – сказал он. Тогда я ушёл, красный и негодующий или пристыженный – не могу теперь определить.

Я долго не мог успокоиться. У меня разболелась голова. На дворе быстро таял снег, сырой туман опять окутал столицу. Стиснув зубы, с тоской стоял я у окна и смотрел на уличную сутолоку, чуждый ей, чуждый этому городу, куда занесла меня глупая ревность.

«Ну, и чего ревновать, – думал я. – Что она – любит или любила меня? Не знаю! А она не знает, что чувствую я к ней... Имею ли я поэтому хоть какое-нибудь право на неё? Глупое сердце! Может, она и его не любит. Но если любит, значит, счастлива. С какой же стати мне вмешиваться? Ведь, не бьёт он её, как этот, не мучает, а должно быть не наглядится на неё?! Как же это я вдруг приду и возьму его за шиворот? А её насильно, что ли, влюблю в себя?»

Я разозлился на себя. Однако, в защиту свою привёл, что *он* обольстил её. Но и на это я сейчас же с яростью напал. «А то как же? Разумеется, обольстил. Не обольстишь – не влюбишь. Ведь и я хотел и хочу её обольстить. И оттого дя-дю возненавидел, что он уже, может быть, раньше это сделал. Это постыдная, животная ненависть, недостойная чело-века»...

– Ах, Верочка! – вскричал я и закрыл глаза рукой.

За стеной было тихо. Кажется, там ходили на цыпочках. Но меня уж соседи не могли интересовать. Чтоб забыться, я потребовал коньяку и кофе. Веселей не стало, я даже не опьянел. Тогда я взял лихача покататься.

Большая чёрная лошадь широко кидала стройными но-гами, и по временам слышался удар подковы по обнажён-ной мостовой. Извозчик с узкими плечами и ваточным та-зом сидел как кукла, покрикивая: «О!.. гись!» – и мы мча-лись по Невскому, с его бесконечными магазинами и двух-саженными зеркальными окнами, по Большой Морской, по-хожей на наш Почаевский проспект, по широкой и простор-ной Литейной, по Дворцовой и Английской набережным. Колоссальные здания, украшенные статуями, хмуро глядели на пустынную, белую Неву. Тот берег был почти неприметен, и только золотая игла Петропавловской крепости, где часы уныло играли четверти, пронизывала туман. Я видел Нико-лаевский мост. Тёмные бронзовые херувимы по четырём уг-лам Исакия, казалось, вот-вот вспорхнут и улетят, – они рас-

плывались в мгlistом воздухе точно призраки.

Я нарочно старался глядеть по сторонам, на всё обращал внимание, мне хотелось занять мозг новыми впечатлениями. Но я всё видел, многим, как будто, интересовался, и ни на минуту не забывал о *них*.

Лошадь пошла шагом.

На Невском фонари ещё не горели. В белесоватой дымке погасающего дня медленно двигались экипажи двумя потоками, один направо, другой налево. В богатых санях и в ландо сидели нарядные дамы, офицеры в шинелях, франты в цилиндрах.

Мой лихач должен был тихонько ехать за другими. Чья-то лошадь дышала у меня над головой, и я слышал французские и немецкие фразы, смех детей и девушек, басовые ноты мужчин. Направо шёлковый платок огненным пятном краснел на чёрной меховой полости саней, занятых двоими. Я пристально взглянул на девушку, которая держала его в одной руке. Девушка обернулась, и наши взгляды встретились.

– Саша! – воскликнула она.

Это была Верочка.

Сергей Ипполитович тоже увидел меня. Он комически пожал плечами, без тени неудовольствия, и, покачав головой, улыбнулся мне как друг или как джентльмен.

Я поклонился им и, в свою очередь, улыбнулся. Сердце моё страшно забилося. Я им... искренно обрадовался.

Сейчас же я поехал к ним. Сергей Ипполитович поселил-

ся, как и говорил, на Большой Морской. У него была прекрасная меблированная квартира. По крайней мере, с первого взгляда она производила выгодное впечатление: всюду бронза, по углам мраморные бюсты. Сдавал её какой-то доктор, которому не повезла практика.

Сергей Ипполитович, раздевшись и войдя в зал, пожал мне руку. Верочка подставила нахолоделую на улице щёчку. Щёчка была свежа как майская роза ранним росным утром. Я поцеловал и обнял Верочку крепче, чем обыкновенно. В ответ она скользнула по мне ярким, несколько недоумевающим взглядом и исчезла в следующей комнате – переодеться.

Дядя усадил меня на диванчике, в беседке, устроенной из тощих олеандров и драцен, и молчал. Мне было неловко.

Стемнело. С улицы в намёрзлые окна проникали лучи газа и быстро тонули в ярком палевом свете керосиновых ламп, горевших в зале. Я смотрел на дядю, при этом двойном свете, и противоположные чувства боролись во мне.

– Соскучился в ***? – спросил, наконец, Сергей Ипполитович, закуривая сигару.

Мне показалось, что он закурил её в замешательстве. Обыкновенно, он курил сигары только после обеда. Протянув мне портсигар и не ожидая ответа, соскучился ли я, он продолжал:

– Здесь, разумеется, веселее. Что ни говори – столица. Масса удобств. Ты видал сегодня – великий князь ехал? Здесь всё дешевле. Возьми квартиры. Где в*** за восемь

рублей в сутки найдёшь ты этакой... appartement?

– Так тебе тоже сюда захотелось? – начал он, пососав сигару. – Чудак! Надо было сказать – вместе поехали бы. Ты на Невском? Давно? Два дня? Не было адреса? Гм! Это непорядок. Оно, впрочем, понятно. Теперь мы в либеральном периоде. Либеральные веяния!.. А я заметил, что непорядок идёт у нас об руку с либерализмом... Что же нового в ***? Ничего!?

– Ничего, решительно ничего.

– Ольга Сократовна?

– Здорова, разумеется. Не люблю я её, дядя. Кажется, сплетница...

Глаза Сергея Ипполитовича сверкнули, и он пытливо и осторожно взглянул на меня, не поворачивая головы. Я покраснел.

– Ты хочешь сказать: дама, – заметил он с улыбкой. – У дам вообще язык без костей. А когда они ухаживают за молодыми людьми вроде тебя, то пускаются на отчаянные средства. Они раздражают воображение мальчиков: поверить им, так все только и делают, что... О, да! Ольга Сократовна... Но, мой друг, свет не клином сошёлся. И если тебя Ольга Сократовна так напугала, что ты удрал от неё в Петербург, то...

Он рассмеялся сочным, певучим смехом, таким смехом, каким смеялся, только говоря о женщинах, и слегка хлопнул меня по коленке. Это было совсем по-дружески. Если б

не тревожный сверкающий взгляд, опять вполоборота брошенный на меня, взгляд холодный и острый, я принял бы эту дружбу за чистую монету и не сомневался бы, что дядя обрадовался моему неожиданному приезду. Я инстинктивно приготовился к отпору.

– Тут, в Петербурге, по части женского пола – малина! – говорил дядя. – У меня есть приятели, и они, если хочешь...

– Благодарю вас, дядя, не надо, – сказал я. – У меня на это особые взгляды.

– Хе-хе!

Он выпустил струйку душистого дыма и с напряжённой улыбкой смотрел на меня.

– Скажи-ка, что же Ольга Сократовна... о чём она говорила, о чём именно, что ты назвал её сплетницей?.. Любопытно.

– Она говорила... вообще.

– Вообще?

– В сущности, только намекала...

Взгляд Сергея Ипполитовича пронизывал меня. Я замолчал, а у него не хватило смелости, что ли, расспросить меня. Он таким образом долго сидел и всё курил сигару, пока от неё не остался крошечный окурочек.

Пот прошиб меня. Мне казалось, что дядя уже догадался, зачем я приехал, а я устал, и так упали мои нервы, что меня страшила скорая развязка всей этой передраги. Но и страстное любопытство шевелилось в моей душе, а потом проно-

силась мысль, что я сам себя обманываю, что ничего *такого* на самом деле нет, что я в крайне смешном положении. Когда позади меня раздался стук каблучков и шорох, я вздрогнул от радости – нашему томительному, неловкому молчанию наступил конец. Верочка подошла к нам, нарядная, в пёстром, кокетливом платье, с красной камелией в волосах.

– Садись, Верочка, сюда, между нами, – сказал дядя и слегка отодвинулся от меня, чтоб опростать место.

VII

Верочка повторила дядины вопросы о ***, и я должен был дать те же ответы. Верочка слегка зевнула, а дядя забарабанил по геридону.

– Пора бы обедать, – проговорил дядя.

Верочка встала и, подавив пуговку звонка у дверей, снова села возле меня, но так близко, что платьем накрыла мне руку.

– У нас, Саша, теперь всё шиворот-навыворот. Обедаем часом, а иногда и двумя позднее... Папа, сегодня на обед...

Она рассказала меню обеда: сама заказывала. Сергей Ипполитович полюбопытствовал, достанет ли на меня; это он сквозь зубы процедил. Затем разговор оборвался. Вообще я был лишний, я стеснял их.

Я подумал, не уйти ли. Но близость Верочки... но лёгкое прикосновение этого платья... Нет, я не мог двинуться и по-

шевелить рукой, потому что мне пришло вдруг в голову, что Верочка нарочно так села и сейчас потихоньку пожмёт мне руку. Я был как в чаду.

– А где же m-lle Эмма? – спросил я, хотя меня вовсе не интересовала эта деревянная особа, и вспомнил я о ней единственно из приличия.

– M-lle Эмма? – начала Верочка, обменявшись с дядей взглядом. – Она...

– Тут... у знакомых... У неё есть родные... – нехотя пояснил дядя.

Верочка умолкла и сидела потупившись.

– Значит, вы... вдвоём?

– Конечно, – совсем уж нехотя и даже пренебрежительно проговорил Сергей Ипполитович.

Верочка раскрыла веер и помахала им себе в лицо.

– Но ты, Верочка, скучаешь без m-lle Эммы?

– Не очень...

– Правда, в Петербурге некогда скучать... И притом же m-lle Эмма, вероятно, приезжает...

– Нет...

– Как нет: приезжает, – сказал дядя.

Верочка поправилась:

– Приезжает.

– Вот сегодня была, – продолжал дядя.

– Ах, да! Действительно, была! Подарила мне красных камелий! – воскликнула Верочка.

Руке моей было довольно неловко, но я всё ещё надеялся. Однако, надежде на этот раз не суждено было сбыться. Вошёл человек и объявил, что подан обед.

За обедом я ел мало – кусок не шёл в горло. Ревниво следил я за Верочкой и Сергеем Ипполитовичем. Она ни разу не посмотрела на него и была задумчива. Красивые глаза её устремлялись в неопределённую даль. Потом, вздрогнув, она принималась за прерванную еду. Сергей Ипполитович повязал на шею салфетку, и в его облике, с горбатым носом, с неподвижным багровым румянцем на скуле и чувственным, выцветшим глазом, в котором мерцала искра расчётливого купеческого ума, было что-то еврейское. Я страстно ненавидел его в эту минуту, хоть он делал самое невинное дело. Мне казалось, что он ест отвратительно, что манеры у него, несмотря на всё его джентльменство, гнусные, и я радовался, что не похож на него.

– Ты будешь жить с нами? – спросила Верочка. – Где ты остановился?

Я сказал.

– Ему с нами неудобно, – проговорил дядя, прихлёбывая из стакана красное вино.

Я с умыслом взглянул на дядю самым вопросительным взглядом. Он осушил стакан и любезно предложил мне вина.

– А мы сегодня, Саша, на бал едем, в собрание, – сообщила после обеда Верочка, идя рядом со мной. – Едем, едем! Ах, как весело танцевать, Саша! Послушай, новая полька!

Она подбежала к пианино.

– Polka Loris-Melikoff...

– Либеральная, мой друг, полька, – сказал дядя, глубоко садясь в кресло. – Ты будь внимателен!

Дядя был уже в том возрасте, когда спать после обеда составляет «вторую натуру». Он этому занятию всегда посвящал полчаса, и я рассчитывал, что мне удастся поговорить с Верочкой наедине.

Верочкины руки бегали по клавишам, я стоял поодаль, дядя курил и не думал идти спать. Такое необыкновенное поведение Сергея Ипполитовича сердило меня, и должно быть лицо моё было очень мрачно, потому что Верочка, мельком взглянув на меня, вдруг бросила играть и спросила:

– Ты нездоров, Саша? Что с тобою?

– Я совершенно здоров, – отвечал я.

– Ты как будто изменился... в лице...

– Ну, это временно... А вот ты, Верочка, изменилась основательнее.

Произнеся это, я сел на диванчик, обставленный драценами, так что Сергей Ипполитович не мог меня видеть; я закрыл лицо руками. Верочка смотрела в мою сторону долгим, вдумчивым взглядом. Потом она медленно подошла ко мне.

Молча стояла она, наклонив голову. В комнате было тихо. Только на улице не умолкал грохот экипажей, и от сотрясения мостовой чуть-чуть дрожал пол, и нежно звенел шар на лампе.

Послышалось храпение дяди. Верочка наклонилась ко мне, взяла за руки и прошептала:

– Ты плачешь?

Я обнял её.

– Посиди со мной, посиди, Верочка!

Она опустилась на диванчик и своим платком отёрла мне глаза.

– О чём же ты?..

– Ты не очень изменилась, Верочка? – спросил я, вместо ответа.

– Как изменилась? – проговорила она застенчиво, и недоумевающий взгляд её остановился на мне; затем она перевела его на себя.

– Я выросла, – сказала она наивно. – Через месяц мне будет шестнадцать...

– Милое дитя! – произнёс я с увлечением и поцеловал у неё руку. – Конечно, ты – ангел!.. Прости меня, что я смущаю тебя... Эти дурацкие слёзы... Видишь, всё нервы... Не спал две ночи, и кроме того... одним словом, мне показалось, что вы оба не особенно довольны тем, что я появился – как снег на голову...

– Напротив!

– Отлично, если так, и я ошибся... Но если...

– Саша, право, ты какой-то смешной! Тебя любят...

– Кто?

Она улыбнулась, влажный взгляд её очаровательных глаз

загадочно скользнул по мне, и я опять поцеловал у неё руку.

– Дядя любит, – сказала она.

– А Верочка не любит?

– Не знаю...

Она засмеялась и нежно ударила меня рукой по губам.

– Какая трогательная полька. Не правда ли? – промолвила она со смехом, после паузы. – А ты знаешь, почему ты стал оплакивать меня? Милый Саша, всё это наделала моя новая причёска... Это она меня изменила!

В самом деле, волосы у Верочки были зачёсаны назад, и это не шло ей.

– Я причешусь как прежде!

Она повернулась к зеркалу, висевшему на стене – сейчас же над диванчиком, встала на колени и движением руки и головы распустила волосы. Они устремились на её плечи и спину тяжёлым потоком, упругие и волнистые, и красная камелия долго висела на них, слабо цепляясь за чёрные пряди, пока, дойдя, наконец, до ног, не упала на паркет. Я поднял её. Верочка взяла у меня гребешок, быстро расчесала волосы, сплела одну толстую косу и, соскочив с дивана, сказала:

– Так хорошо? Нравится тебе?

– О, да!

Она протянула руку за цветком, но я спрятал его в боковой карман. Верочка лукаво посмотрела на меня из-под пальцев руки, которою в смущении прикрыла глаза, как бы не замечая, что другую руку я осыпал поцелуями.

Так прошло минуты две. Вдруг Верочка залилась задорным, чересчур весёлым смехом, вырвала руку, выскользнула как змейка, как птичка из моего объятия и, продолжая смеяться, снова уселась за пианино. Она играла, и её смех вторил хвастливым звукам модной польки.

Странная эта Верочка. Я совсем не знаю её. Ребёнок она или девушка? Рука моя ещё горела от прикосновения её руки, и мне было стыдно и сладко. Я прижимал камелию к сердцу. Оно билось, всё билось.

На полутоне Верочка оборвала игру и возвратилась на прежнее место так же торопливо, как оставила его.

Грудь её высоко поднималась и опускалась. А на ресницах дрожали слёзы.

VIII

Дядя кашлянул. Я вздрогнул от безотчётного ужаса. Мрачно посмотрел я в его сторону, и молодая девушка, испугавшись или этого кашля, или моего взгляда, тоскливо промолвила:

– Проснулся... Ты проснулся, папа?

Торопливая улыбка мелькнула на её лице, она бросилась к дяде.

Я поднялся.

– Я не спал, ma petite [*моя малышка – фр.*], – отвечал Сергей Ипполитович зевнув.

Наступило молчание.

– Нельзя спать, когда над самым ухом эта полька... – продолжал он.

– Папа, вчера ты отлично спал под неё!

Он усмехнулся.

– Александр! Фрак у тебя есть? – вдруг спросил он. И не дожидаясь ответа, пояснил. – О фраке я спрашиваю потому, что тогда... Верочка взяла бы тебя в собрание... Не правда ли, Верочка?

Верочка посмотрела на меня. Она сидела на ручке того кресла, где полулежал Сергей Ипполитович, и глаза её были уже сухи.

– У меня нет с собой ни фрака, ни сюртука, – ответил я потупляясь.

– Жаль, мой друг, – сказал дядя. – Собрание – согласишься сам. Мне нездоровится, – он потёр колено и поморщился, – я с удовольствием остался бы дома, а ты, в самом деле, поехал бы с Верочкой...

Что-то вроде благодарного чувства шевельнулось во мне.

– Вы сели бы в карету, – продолжал дядя, морщась ещё сильнее, – и потом в собрании ты вёл бы Верочку под руку... Вообще берёг бы её... Конечно, ты сделал бы это охотно, – я очень рад, что ты искренно её любишь...

На душе у меня светлело.

– Натанцевавшись с нею вволю, ты покормил бы её... В собрании хороший буфет, а Верочка не прочь полакомить-

ся... Все любовались бы на вас и говорили: «Вот парочка!»

– Дядя! – воскликнул я.

– Светом ты привёз бы её домой...

– Дядя!

– Но, – тут он сделал остановку, – фрака у тебя нет. Вместо фрака, какой-то фантастический костюм: синяя жакетка, под жакеткой – красная блуза. Ты не кавалер, ты на нигилиста похож. Куда же тебе ехать в собрание!

Я понурил голову.

– Оно хоть и либеральное теперь время, а всё же... за кого Верочку примут! Да и не пустят тебя!

«Фрак сейчас можно купить!» – подумал я, и тут же вспомнил, что на это у меня не хватит денег.

– И к тому же, – продолжал дядя, – мне самому захотелось ехать. Колено перестало...

Я ждал, что Верочка грустно взглянет на меня; но она чмокнула дядю в лоб. Я покраснел и сказал:

– В самом деле, Верочке я не пара... Я не танцор.

– Э! Значит, будь даже у тебя фрак, ты не повёз бы Верочку в собрание! – подхватил дядя. – А я, брат, полагал, что ты её любишь...

Он насмешливо взглянул на меня... Достаточно было этого взгляда, как раз как на том портрете, который я растоптал, чтобы ненависть к дяде проснулась во мне снова.

Точно туча повисла над нами, и я ждал, что вот-вот грянет гром, пронизет молния напряжённый электрический воз-

дух, и кто-нибудь из нас – или я, или дядя – падёт, сражённый, униженный, оттёртый. Возле Верочки нам двоим стало тесно. Видно было, что и дядя это понимает. Да и Верочка, хоть она не знала, что делается во мне, чужая что-то тревожное. Глаза её останавливались то на мне, то на дяде, и несколько раз выбегала она из комнаты, сейчас же опять возвращаясь, как бы из опасения, не случилось ли уже между нами что-нибудь. Мы, однако, вели себя сдержанно. Дядя острил, но был усиленно любезен со мною; я отмалчивался, придумывая, чем бы, в свою очередь, допечь его.

За чаем, который разливала Верочка в узенькой столовой, я сказал:

– Дядя, как вы думаете, зачем я приехал сюда?

Он пожал плечами.

– Я никогда не был оракулом и не умею отгадывать намерений молодых людей.

– Ну, однако же?

– К делу, Александр, к делу!

– Я приехал повидаться с вами, – проговорил я, откидываясь на спинку стула и стараясь в упор глядеть на дядю.

– Благодарю тебя за нежные чувства...

Он бросил на меня нестерпимо острый словно металлический взгляд; я не выдержал и потупился.

– Я приехал, – начал я дрогнувшим голосом, – попросить у вас выдела моих капиталов и... и... отчёта.

Он нахмурился.

– Выдела? Отчёта?

– Да... Пора... Я уж совершеннолетний... Мне не хотелось бы зависеть даже от вас...

– Несмотря на всю любовь твою ко мне, – закончил дядя. – Хорошо. Но как это ты вдруг решился? В такое время?... Впрочем, твоё дело.

Он замолчал и энергично ломал сухарики, которые потом хрустели на его зубах как песок. Пальцы его дрожали. А я ликовал.

Когда чай был отпит, он взял меня за талию и мягко проговорил:

– Если до тебя, мой друг, дошли какие-нибудь слухи, то, пожалуйста, верь им только вполовину. Банкротство одесских хлеботорговцев и потом этого здешнего Кемница, конечно, не могло не покачать нашего баланса...

– Я ничего решительно не слыхал, дядя, – отвечал я, чувствуя себя не совсем ловко в его объятии, – и не сомневаюсь в целостности... мало сказать... в неприкосновенности моего состояния, честное слово! Но мне скучно без денег. Я шагу не могу ступить без денег. Вот напр., ехать в собрание. Но у меня нет даже ста рублей, чтоб фракную пару купить.

– Только лакеи и мелкие чиновники покупают фрак... Фрак, мой друг, всегда заказывают. Да и поздно теперь. Не придётся ли мой фрак на тебя?

– Не надо. Он будет широк.

– Да, он будет широк.

Мы молча прошли по залу.

– Так неужто ж ты из-за фрака поднял эту историю? – вдруг весело спросил он и остановился.

– Мне, действительно, пришло это в голову сейчас, – отвечал я, серьёзно глядя на Сергея Ипполитовича.

Он раскосил глаза.

Остальную часть вечера, до отъезда их в собрание, мы провели мирно. Верочка долго одевалась и когда оделась, то со странным восторгом говорила о танцах. Но мир был деланный. Чёрная туча не сходила с нашего горизонта.

Они уехали, а я несколько минут стоял на панели. Мне всё мерещилось, как Верочка, приподняв платье, садится в карету, поддерживаемая Сергеем Ипполитовичем. Не сразу перешёл я к впечатлениям действительности. Наконец, тронулся я с места. То был мороз, теперь накрапывал осенний дождик. Чмокала грязь под копытами, фонари горели, отражая в мокром граните изжелта-серый свет газовых рожков. Люди шли, шли без конца.

Измокший притащился я домой и растянулся на турецком диване. Я вспомнил, как ласкова была со мной Верочка, вспомнил её слёзы и поцелуй, который она дала дяде. Странные мысли лезли мне в голову.

Самовар шипел. Застоявшийся воздух дремал в тускло освещённой комнате. Иван пришёл со счётом и за паспортом. Весь долгий вечер я провёл один в номере. Опять слышал я сонату, исполняемую моей бедной маленькой сосед-

кой, и удивился, что мог принять это треньканье за твёрдую игру Верочки.

«Страсть ослепляет нас», – подумал я сентенциозно и заснул.

IX

Вчера было условлено, что я явлюсь на Большую Морскую утром за пятьюстами рублей, которые мне выдаст дядя на разные надобности и затем основательно поговорит со мною по поводу моего неожиданного требования. Я встал рано, но, конечно, не ради денег, а ради Верочки. Я был болен думами о ней, и мне хотелось поскорей видеть её глаза. Больше любви было и больше муки, а любовь возросла со вчерашнего вечера. Глаза этой девушки как два мерцающие чёрные алмаза преследовали меня неотступно, таинственные и чудные. И страсть, и любопытство тянули к ней; и ужас опасения, что она принадлежит другому, и надежда, что она будет моей. Я оделся, машинально взял газету и не мог читать. По Невскому проспекту я бродил всё утро и, полный нетерпения и тоски, поминутно справлялся с часами...

Я шёл, глотая сырой, холодный туман позднего петербургского утра. Жидкий стук колёс и смешанный гул голосов пронизывали мглу. Предо мною и по бокам волновались тени людей и лошадей. Да и самые дома казались призрачными силуэтами каких-то колоссальных созданий, подслеповато и

бесстрастно глядящих на меня тысячами глаз.

Когда я подумал, как одинок я в этом чужом огромном городе, мне жутко стало...

Туда, где теплится хоть искра участия! Скорей к Верочке!

Я позвонил.

Горничная не сейчас отперла дверь.

– Что, Глаша, барышня?

– Ещё спят.

– А барин?

– Да и барин...

Горничная была старая дева, из тех, что полнеют с годами, рябоватая, с хитрыми, полуопущенными глазами. Сергей Ипполитович очень благоволил к ней.

– Теперь поздно! А дядя сам назначил мне...

– Так вы подождите, Александр Платонович, пусть они поспят.

Она повесила пальто и проводила меня в зал.

– Должно быть, поздненько вернулись, – начал я.

– В пятом часу, – ответила она тихо и исчезла.

«Ну, дядя не всегда ведёт себя по-джентльменски, – заставляет ждать», – думал я и жадно и ревниво глядел на дверь, где была Верочкина комната.

Помню, дверь была маленькая, полированная, в виде шкафчика, с белой фаянсовой, круглой как яблоко ручкой. Искра света неподвижно белелась на ручке, и постепенно взгляд мой сосредоточился на этой искре. Вдруг, она потух-

ла, ручка повернулась, дверь бесшумно подалась, и я увидел... дядю.

Он был в бухарском халате и пёстрых сафьяновых сапожках. Смотрел он недружелюбно, лицо его как-то неприятно осунулось, на голове волосы лежали в беспорядке.

– Что ты так странно поглядел? – начал он. – Ты прошёл ко мне... по делу... и что ж... ты не ожидал меня, что ли?

Я не ответил.

– Может, думал, что я не сдержу обещания? – продолжал он. – В сущности, я имел бы право не дать тебе ни копейки, пока формальности не сделаны... Тем более, что своим неожиданным требованием ты режешь меня без ножа... Вынуть из оборота пятьдесят тысяч – значит надолго расшатать состояние, которое, ведь, не Бог знает как велико. До окончательного упорядочения наших отношений позволительно было бы не обращать внимания на твои нужды. Мне какое дело, что тебе понадобились пятьсот рублей. Заварил кашу, так и расхлёбывай! Но я – человек старых убеждений, не то, что нынешняя молодёжь, которая хвастается своими принципами, а на самом деле их отрицает. Я дал слово и хоть сообразил потом, что поторопился, однако, остаюсь ему верен. Вот деньги.

Он протянул пачку ассигнаций. Я не взял.

– Поговорим сначала...

– О чём говорить! – произнёс он с досадой. – Между нами, Александр, пробежала чёрная кошка. С некоторых пор ты

как-то странно глядишь на меня – и дерзко, и нагло, ты приехал, чтоб поссориться, отравить мне жизнь этими денежными дрязгами, о которых удобнее всего было бы говорить там, в ***, а не здесь, в Петербурге. Да и праздники! Хоть наружно надо уважать традиции православия!.. Что ты улыбаешься? Послушай, Александр, я не люблю этого нигилизма...

Он зорко посмотрел на меня.

– Александр, хоть ты и совершеннолетний, но нашему брату теперь всё-таки приходится отвечать за вас. Раз ты получишь в своё распоряжение капитал, – ради Христа, не употреби его во зло... Тебя повесят, да и меня не поглядят по головке. Может быть, я снова возьму службу, и для меня, разумеется, важно, чтобы родня моя вела себя хорошо... Я до сих пор не могу забыть, что генерал-губернатор не подал мне руки после ареста этого проклятого Соколова!..

– Дядя!

– Что, племянник? Эй, Александр, предсказываю я тебе горький конец! Я проснулся и всё утро лежал и думал о тебе! Не к добру ты захотел самостоятельности. А помнишь, что случилось с Неручиным? Выделился, вот также как ты, и что же? Отрицал и Бога, и православие, и брак, жил с кузинами...

– Дядя!

– Об этом все Топольки говорили... Все ужасались!..

– Неручина Соколов презирал...

– Какой авторитет! Молчи, ради Бога. Будет! Желая тебе

всего лучшего от души. Я только предостерегаю тебя, в силу права, переданного мне твоей бедной покойной матерью. Понимаешь – есть предчувствия... Ну, да довольно! Если ты хочешь выдела сейчас – напрасный каприз! Не время и не место. В конце же января, в начале февраля – другое дело. Тогда я к твоим услугам. А затем, вот обещанные пятьсот рублей – бери, будешь жалеть! В другой раз не дам, – и ска-тертью дорога.

Он встал и, запахивая одной рукой полы халата, другою указал на выходную дверь.

Я побледнел, поднялся, грудь моя надулась от вздоха, судорожно застрявшего в ней, и, схватив деньги, я швырнул их на пол; и тут же я увидел, как повернулась фаянсовая ручка, и в образовавшейся щели сверкнуло что-то белое, точно край утренней блузы или подол рубашки. Я быстро зашагал и надел пальто уже на лестнице, с трудом попадая в рукав. Слезы слепили мне глаза.

X

– Вот встреча!.. Почтеннейший юноша! Земляк, а земляк! Не ожидал! Какими судьбами?

Предо мною стоял человек лет под тридцать, с четырёх-угольным лицом, широкими чёрными бровями, в шубе и смушковой серой шапке.

Он обнял меня, и только когда поцеловал, крепко всо-

савшись своими толстыми губами в мои губы, я вспомнил, что это Ткаченко, бывший мой репетитор, которого дядя так неделикатно рассчитал тогда.

– Кузьма Антонович! – вскричал я.

Ткаченко, держа меня за руку, подвёл к извозчику и сказал:

– Садитесь, Александр Платонович! Поедем ко мне, треба моего хлеба-соли отведавать! Скажите, надолго вы сюда явились?

– И сам не знаю. Потом расскажу, – отвечал я, вытирая глаза платком и переводя дух. – А вы тут постоянно живёте?

– Постоянно! По горло в деле... в хлопотах... женился...

Что, сильно я постарел?

– Переменились... усы какие!

– Казачьи! – произнёс он и провёл рукой по усам, взглянув в воображаемое зеркало, которое должно было бы висеть как раз на спине извозчика.

– А я, должно быть, мало переменялся... – начал я.

– Ничуть! Выросли только... У вас всё такое же молоденькое личико – как у красной девушки. Бороду надо бы. А то, я вам доложу, у вас наружность, которая барышням не очень-то нравится...

– Надо состариться, и тогда смело рассчитывай на барышень!.. Так? Что ж, в иных случаях это верно... Бывает! – сказал я с ударением.

– Натурально, бывает. Барышни любят мужественный

вид, и чтобы усы кололись...

Он опять посмотрелся в воображаемое зеркало.

Пока мы доехали до дома, где жил Кузьма Антонович, он успел переговорить обо всём – не только о барышнях, но и старину вспомнил, сообщил, что с кем случилось... Об одном только не было им сказано ни слова: о дяде. Я же пока не мог о дяде равнодушно говорить – боялся, что разрыдаюсь; я ещё не остыл после горячки, в которой выбежал из его квартиры.

Беседуя с Ткаченко, я чувствовал, что встреча эта благотворна для меня. Главное, я уж не был одинок. А затем нас крепко должна была соединить общая ненависть к Сергею Ипполитовичу. Кузьма Антонович был не из тех людей, которые забывают даже давние обиды. Его добродушие и наивный юмор отлично уживались с этим свойством его души.

Квартировал Кузьма Антонович в самом конце Невского проспекта за Знаменской церковью, где улица суживается и теряет свой элегантный вид. Лестница была без швейцара, без ковра, с грязными, сырыми стенами и вся в дощечках – с изображением руки и надписью «нотариус». Эта рука не покидала нас вплоть до четвёртого этажа. Дверь квартиры была тоже вся в надписях.

– Вы у нотариуса живёте? – спросил я, обрадовавшись какой-то неясной мысли, мелькнувшей у меня.

– Я сам нотариус, – отвечал Ткаченко самодовольно. – Нарочито не говорил, чтобы удивить друга!

На четырёхугольном лице его сияла такая торжествующая

улыбка, что нельзя было сомневаться в важности, которую он придаёт сделанной им карьере нотариуса. Я поздравил его.

Контора его, впрочем, не свидетельствовала о блистательном положении его дел. За решёткой работали две женщины и седенький, кривоплечий старичок. Унтер встал на вытяжку перед нотариусом. На жёстком диване беспокойно завозился клиент в лисьем пальто и густо напомаженных волосах. Ткаченко чуть кивнул головой в ответ на поклоны подчинённых и клиента и провёл меня в свой кабинет.

Это была небольшая закопчённая комната с письменным столом у окна, с турецким ковровым диваном, с гипсовым бюстом Шевченко, с бронзовой лампой и неизбежной у всякого малоросса олеографией «Ночи» Куинджи. На дверях висели зелёные портьеры. Одну из них Ткаченко приподнял и сказал:

– Галю, а Галю! Ну-ка, иди сюда! Земляк пришёл, так надо показаться! Не церемонься. В чём стоишь, в том и иди. Не осудит!

– Подожди, мой друг! – услышался кроткий женский голос. – Опустит портьеру! – раздался тот же голос через секунду, но уже не так кротко.

– Покоряюсь во всём! – произнёс Ткаченко вполголоса, отходя от двери и с гордостью посматривая в ту сторону, где находилась его жена. – Алина Патрикеевна, я вам скажу, замечательная женщина, – продолжал он. – Может быть, вы и

не надеялись, что я так скоро... – где же, в Петербурге!.. – пристроюсь, одним словом, выйду в люди. Так надо говорить правду – всем я обязан Алине Патрикеевне. Конечно, тут не приданое важно, а её сердце и ум... Например, у меня женщины едят... Они и аккуратнее, и гораздо дешевле... Кто завёл? Алина Патрикеевна. Приданого я взял за ней немного – пять тысяч да эту контору. Хотел бросить контору и переезжать туда, на родину. Кто удержал? Алина Патрикеевна. Живое дело как же можно бросать? Теперь Бога благодарю!

– На родину разве не тянет?

– Как можно! Кто её забудет? А только согласитесь сами...

Нет, это совсем другое дело. Родина – особь статья!

Услышав шорох за портьерой, он внимательно взглянул на себя в зеркало, погладил усы и встал.

– Вот, позволь тебе, Галю, представить...

Вошла дама и протянула мне твёрдую, жилистую руку; дама была высокая, худая, с длинным носом и в белом чепчике с серыми лентами, свисавшими на затылке.

– Мне всегда приятно видеть друзей моего мужа, – сказала она.

Так как она считала необходимым занимать меня, то села, пригласила меня сесть и начала:

– Он так любит свою глупую Малороссию, что рад всем, кто приезжает оттуда. Представьте, мужика сюда притащил! Напоил его водкой и сам с ним пил... Ужасно! А вы давно из Малороссии? – кротко спросила она.

Я остался обедать у Кузьмы Антоновича. Усердно приглашая меня отведать того или другого блюда, он каждый раз просительно поглядывал на Алину Патрикеевну. Лицо её было холодно; иногда оно покрывалось розовыми пятнами; ни разу не ответила она мужу любезным взглядом.

– Галя сердится, что обед неудачный, – сказал Ткаченко, – а по мне – дай Бог всякому так есть! Галю, а Галю, да нубо! Кушайте, Александр Платонович, угощайтесь. Вот крылышко возьмите... пупочек... печёночку...

Когда после обеда Кузьма Антонович сказал, что купит ложу, и пригласил меня в театр, Алина Патрикеевна побледнела. Она опустила глаза и казалась мраморной статуей – до того всё в ней, до последней складки платья, стало неподвижно. Но я отказался, и Алина Патрикеевна ожила.

– Что же мне сделать с вами, чтобы расшевелить вас? Чего вы такой скучный? В театр вам не хочется – не поедем ли к Палкину, послушать орган? Ну, на бильярде сразимся? А были вы в новых банях? Удивительные бани! Мы с Алиной Патрикеевной раз...

Тут Алина Патрикеевна встала и ушла, сделав негодующее лицо. Кузьма Антонович прикусил язык.

– Что я такое сказал? – спросил он, растерянно мигая. – Этакая скверная натура! Как лишнюю чарку проглочу, то всегда ляпну что-нибудь...

Мне становилось всё скучнее и скучнее.

– Да что с вами? Вы точно в воду опущенный!

– Я уйду, Кузьма Антонович. А потом вы пожалуйста ко мне. У меня дело есть, важное, безотлагательное! Я ужасно рад, что вы – нотариус... Вы мне дадите совет... И вам я всё могу рассказать... А тут не могу... неловко... Да и ко сну, кажется, вас клонит...

– Правда, клонит...

– Вот видите. Так до вечера!

– До вечера, положим, недалеко... Уже смерклось... А дело, говорите, важное?

– Да, Кузьма Антонович! Уж такое важное!..

Мы стояли в передней. Лампочка горела над головой и освещала коренастую, положительную фигуру Ткаченко, устремившего на меня полусонный, полужадумчивый взгляд. Это был человек надёжный, и некоторая ограниченность его придавала ему характер ещё большей надёжности. Я крепко пожал ему руку.

Он приехал ко мне в десятом часу, свежий и бодрый, слегка сквернословящий, ибо был того мнения, что молодым людям это нравится, и в холостой квартире позволительны всякие выражения. Выпив два пунша, он выслушал мою исповедь «с большим удовольствием», сказал, что слышал на бирже от земляков о том, в каком положении находятся денежные дела Сергея Ипполитовича, и обещал поправить всё – если возможно поправить. Когда я стал распространяться о Верочке, он насмешливо улыбнулся.

– Это уже последнее дело, – произнёс он. – Целое состо-

яние на карте!.. А отведать любви всегда успеете... Сколько красавиц на свете! Нет, оставьте, бросьте! Да и что в ней, в этой Верочке: чёрная как галка... всё лицо из глаз...

– Вы, Кузьма Антонович, не понимаете после этого, что такое красота...

– Не знаю, может, она с тех пор другая стала... А только о красоте мы судим по себе. У девушки лицо должно быть белое. Ну, и кроме того, роскошное сложение...

– Оставим этот разговор, Кузьма Антонович.

Он помолчал и сказал:

– Смотрите ж, об одном прошу: когда я согну в дугу этого франта, и он прибежит мириться, то – нуль внимания. Никаких уступок! Ни-ни! Он вас за руку, а вы руку прочь! Он вам письмо, а вы – молчок! Он на вас Верочку нашлёт, но и тут вы соблюдайте своё достоинство... Всё равно, через месяц, через два она будет ваша, уж если на то пошло. Куда ей деться! Между тем я на бирже похлопочу...

Он потёр руки и язвительно смотрел в окно, в чёрный туман ночи, там и сям пронизываемый жёлтыми огнями.

Через час мы расстались.

XI

Два дня прошло в мучительной тревоге, какую испытывает, может быть, разве только богатый скупец, потерявший вдруг всё своё состояние и лишь на одну полицию возлагаю-

щий надежды. Он куда надо заявил, там выслушали его заявление и обещали сделать «всё зависящее». Летят часы, слагаются в сутки, бесконечные сутки, одни и другие. Несчастный за это время истомился в бесплодном ожидании, но боится не верить в счастливый исход полицейского розыска и всё баюкает себя надеждой, что вот сейчас вернётся к нему утраченное сокровище, он насладится блеском драгоценных камней и протянет как прежде блаженные руки к звенящему золоту...

Увы! Всего раз заехал ко мне Ткаченко и с деловым видом произнёс:

– Надо ковать железо... Праздники мешают. Но сейчас отправлюсь.

– Куда? Уж не к Сергею ли Ипполитовичу?..

Кузьма Антонович ничего не ответил и, напевая, вылил на себя полфлакона «невской воды». Правда, заезжал он и ещё раз, но не застал меня.

Утром на третий день, ещё в постели, я получил письмо. У меня сильно забило сердце. Кузьма Антонович действует! Торопливо сорвав конверт, я прочёл:

...«Самое главное – я припёр его к стене. Я схватил его за горло, и он должен был просить пощады. Но пощады я не дал и не дам. Не превратитесь в кисель! Если расчувствуетесь, деньги пропали. У Сергея Ипполитовича больше пятидесяти тысяч не наберётся. Всего-навсё! Я досконально узнал это и держу его в руках. Он разорён и через какой-нибудь месяц

будет под пятой почтеннейшего юноши, а его Верочка»...

Тут я скомкал письмо и проворчал:

– Дурак!

Дальше Кузьма Антонович обещал приехать после четырёх часов, чтоб пообедать со мной у Бореля (на мой счёт) и всё мне подробно рассказать.

Хлопоты Кузьмы Антоновича были, таким образом, очень успешны, и сначала я искренно обрадовался. Но меня что-то смутило. Я лежал и удивлялся, что не дальше как вчера я мечтал о таком исходе, как о необыкновенно желательном, и радость представлял себе гораздо большею, чем теперь на самом деле её испытываю...

– Что же это?

Были грязные строки в письме Кузьмы Антоновича. Впрочем, я это простил бы ему, как простил его дикие отзывы о Верочкиной наружности. Но мне вдруг ясно стало, что я совершаю некрасивое насилие. Ведь не деньги свои я спасаю, как упорно утверждает Кузьма Антонович, а хочу Верочку купить у Сергея Ипполитовича. Так случилось, что дядя разорился на своих спекуляциях, а я этим пользуюсь!

– Вся эта история чересчур тово... – решил я вставая. – Если Верочка любит меня хоть капельку, как мне кажется, то всё равно я отниму её... Такое насилие – даже доблесть. Но насилие посредством нотариуса... добиться покорности и любви ценою денег... нет, гадко!

Одевшись, я решил придумать что-нибудь другое... но

дверь отворилась, и вошли две дамы в шубках.

XII

– Верочка? М-лле Эмма!

Мне не хватало слов, и я не знал, что сказать... Я растерялся.

– По какой погоде! – начал я и посмотрел в окно, из которого ничего не было видно, кроме тумана, белого как вата.

Была смущена и Верочка. Она всё не поднимала глаз. Развязывая у подбородка ленты своей шляпки, она напряжённо улыбалась. Нежные, тонкие пальчики её, красные от холода, трепетали.

Я взял её перчатки, шляпку, муфту и клал то на диван, то на комод.

Помогая Верочке скинуть шубку, я спросил:

– Отчего же вы не раздеваетесь, м-лле Эмма?

М-лле Эмма сказала Верочке несколько слов по-английски.

– М-лле Эмма сейчас уйдёт, – проговорила Верочка прерывающимся голосом. – Она уйдёт, если ты... этого захочешь...

– О, да, да! – ответила м-лле Эмма.

– Зачем уходить?.. Куда?.. – спросил я. – Но... впрочем... Хорошо, Верочка, мы останемся одни!

Сказавши это, я с нетерпением стал ждать ухода м-лле Эм-

мы, приписывая её присутствию своё смущение. Но как долго не уходит она! Как размеренно подошла она к Верочке, и как бесконечно то, что она ей говорит! А что она ей говорит? Отчего вспыхнули у Верочки щёки? Господи! Ну, пускай уж не уходит, если Верочка так краснеет!.. В висках у меня застучало, и я насилу понял, что m-lle Эмма уходит, уходит!..

Но когда мы остались одни с Верочкой, смущение усилилось. Мы сидели на диване и молчали.

– Не хочешь ли чаю, Верочка? – проговорил я.

– Нет.

– Можно подогреть... Я прикажу...

– Не надо!

Снова молчание.

Белесоватый день лил тусклый свет в комнату. Лишь зеркало в углу сверкало, и в нём отражалась фигура Верочки, с наклонённой головой, в красной шёлковой кофте, перетянутой кожаным поясом.

Мало-помалу брильянтовые серёжки в её ушах стали дрожать.

– Что с тобой, Верочка? – спросил я.

В ответ раздалось её рыдание – сначала тихое, сдержанное, потом громче. Она закрыла лицо руками и горько заплакала.

Я бросился к ней, упал к её ногам, обнял её колени, покрыв поцелуями её платье.

– Что с тобой, Верочка, милая? Перестань! Что с тобой?

Но она всё плакала. Её слёзы, за каждую каплю которых я отдал бы всю свою кровь, сжимали мне сердце невыразимой болью. То были истерические слёзы, потрясавшие её, слёзы, которых я никогда не забуду...

– О, ради Бога! Выпей воды! Верочка!

Она взяла стакан, но вода проливалась, и шёлковая кофта её намочила на груди и потемнела.

– Саша!.. Зачем... зачем... ты... обидел его!? – произнесла она, наконец, делая усилие над собою. – Ты его обидел... жестоко... ты разоряешь его... Саша! О, какая я несчастная! Смотри, милый брат мой, дорогой мой, голубчик, Сашечка, я тебя на коленях умоляю... Не ссорься с ним! – страстным, слезливым шёпотом заключила она и хотела опуститься на пол, но я удержал её.

Я встал и проговорил:

– Успокойся, Верочка. Никому я не желаю зла. Ты хочешь отклонить меня от весьма благоразумного поступка... – Правда, поступок неожиданный... Если б не обидное обращение дяди, никогда не пришло бы мне в голову... Но тут ещё одно обстоятельство замешалось... Что ж, сказать тебе всё прямо?

Сердце моё замерло.

– Мне показалось, Верочка, что дяде выгодно даже, если он поссорится со мной... с некоторых пор выгодно... Видишь ли...

Я остановился и продолжал:

– Он тебя любит. Но не как приёмную дочь, а как... прости меня, пожалуйста... как лю... как постороннюю девушку... Ну, и я тоже... Правду сказать, Верочка, я тебя с осени ужасно полюбил!

Я взял её за руку и крепко сжал; она смотрела на меня заплаканными глазами.

– Выпей воды, пожалуйста, Верочка, я боюсь, что к тебе вернётся припадок... Выпей!

Я напоил её из стакана как ребёнка.

– Если б я мог... если б, Верочка, милая, счастье моё, сокровище, если б я мог думать, что ты хоть столечко любишь меня, как я был бы спокоен!.. Но тут я стал ревновать тебя...

Жар разлился у меня в груди, бросился в лицо, зажёг щёки.

– Никогда не стал бы я ссориться с дядей... Верочка, видишь ли, если б за тобой стал ухаживать молодой человек, я не так бы мучился, как теперь, когда я думаю на дядю... Ах, какое это горе и терзание! Я терзаюсь, дядя терпеть не может, зачем я на глазах... Это всё его тревожит и раздражает, оттого что я подозреваю... Мне кажется, мы с ним видим друг друга насквозь! Для него лучше, если мы расстанемся!..

Глаза Верочки затуманились, но она молчала. Я сел и обнял её.

– Скажи же что-нибудь! Может быть я обижаю тебя неосновательно... Тогда прости меня. Но ты видишь, я люблю тебя и с ума схожу от любви... Я прилетел в Петербург

для тебя... Не думай, что для денег... Это вдруг я выдумал предлог и чтоб отплатить чем-нибудь дяде. А я для тебя, для тебя! Я люблю тебя, Верочка! Рассей мои подозрения! Скажи, что я оскорбляю тебя, что я лгу, что ничего у тебя нет с дядей... Скажи!

Она молчала.

– Я жесток, Верочка, мне стыдно, что я пристаю так к тебе... Да что ж делать, когда я измучился, и у меня нет других мыслей и других разговоров. И ты сама пришла ко мне... Значит, и ты хочешь развязки... Хочешь, да?

Я слышал, как дрогнул её стан и точно потеплел под моей рукой. Она сказала:

– Сделай так, чтобы помириться с папá.

Она подняла на меня глаза, кроткие и лучистые, со следами невысохших слёз на ресницах.

– То есть, что? То есть, ты требуешь, чтоб я оставил у него деньги? Неужели это значит помириться?

В её глазах стояло недоумение; я ясно видел, что она боится меня, – боится, что я не соглашусь.

– Папá надо деньги, – произнесла она.

– Не называй его папá! – вскричал я. – Какой он тебе папá! Он тебе чужой человек! Или нет, он тебе близок?.. Крепко... ужасно близок?.. Да?.. Да скажи же?!

Меня злость разбирала.

– Так он тебе близок? Так? – спрашивал я и больно обнимал её. – Так всё же он не папа?! А впрочем, папа, папочка,

папаша! Ха-ха!

– Мне страшно тебя...

– Полно, Верочка, нашла страшное... Ах, я жалкий человек! Зачем я полюбил тебя, зачем люблю?..

– Пусти...

– Пустить тебя? Ну, разумеется, я тебя не удерживаю!

Я оттолкнул её.

– Саша!

Она заплакала опять, но тихими слезами, которые светлыми струйками сбегали по её пальцам. Я стоял, заложив руки в карманы. Я был груб, мне хотелось побить её.

– Долго это будет продолжаться?

– Пощади его! – отвечала она.

– Всё он да он! Верочка, он почти втрое старше тебя! Как можно любить его!.. Послушай, дитя моё! Мне опять пришла мысль: ну, что если я обижаю тебя напрасно! – я подошёл к ней и снова обнял её. – Ты не можешь его любить!.. У него отжившие взгляды... Он... эгоист...

– Он добрый, – прошептала она.

Пальцы мои хрустнули.

– Да, очень добрый, – продолжала Верочка, отнимая руку от лица и вытирая глаза платком, на котором красовался вензель Сергея Ипполитовича. Этот вензель лез в глаза. – Хороший и славный... Он тебя любил и любит, хоть ты ему зло делаешь.

– Да, любя меня, он полюбил тебя!..

– Что тут дурного? – спросила она, с загоревшимся взглядом, придавшим пропасть очарования её лицу. – Я тоже люблю его!

Я впился в неё глазами. Вот когда она недосягаема! Девочка стала женщиной.

– Прости меня, – прошептал я.

– Саша, милый! – начала она кротко. – Я не могу на тебя сердиться. Ты меня прости... Но ты не станешь мстить... Не правда ли?

Она ласкалась ко мне.

Я сказал:

– Верочка, не скрывай от меня...

– Ничего не буду!

– Неужели эта близость у вас давно? – спросил я. – И разве он после этого не эгоист самый...

Я не мог найти слова. Верочка покраснела.

– Молчи, Саша! О какой близости говоришь? Или, впрочем, зачем лгать? Да, я – его любовница! – прибавила она, подняв голову.

– Любовница!

Я заломил руки, она наклонилась ко мне.

– Итак всё это правда! – вскричал я с отчаянием.

– Не тоскуй, я расплачусь. Саша, что же ты? Помиришься с ним? – начала она.

– Ни за что!! – вскричал я, сжав кулаки и вскакивая как ужаленный.

Я ходил по комнате. Верочка, засматривая мне в лицо, ходила возле меня и говорила:

– Полно, Саша, милый Саша!

– Ответь, – шёпотом проговорил я, – тебя «наслал» сюда дядя? Он приказал тебе просить меня? Кого ты любишь!.. Старого негодяя! Он посылает тебя устраивать его денежные дела! Даже Эмма ушла, чтоб не мешать? Ха-ха-ха!..

– Тсс! – произнесла она, и опять засверкали её глаза.

От огня, которым зажглось её чудесное лицо, высохли следы недавних слёз её. Она точно никогда не плакала и не была слабым ребёнком.

– Саша! Он ничего не говорил! – начала она. – Он не знает, что я у тебя. Но – я не вернусь к нему иначе, как примирив вас... чего бы мне это ни стоило. Дяде Эмма не скажет, что уходила. Понимаешь? Сергей Ипполитович не будет знать, что мы оставались вдвоём. Когда Ткаченко вчера пристал к папá, и я увидела, как ужасно положение этого человека, который теперь для меня всё, я сейчас же решила поправить дело. Я знала, что ты любишь меня и для меня всё сделаешь!

Она уверенно смотрела мне в лицо, прижавшись ко мне станом и слегка откинув голову.

– Верочка...

Она прижалась ещё сильнее...

– Помиришь... Только помирись, – шептала она.

Глаза её застыли, тёмные и влажные; губы раскрылись. Нижние веки как-то странно съёжились, придав особенное

выражение этому полудетскому лицу...

Во мне всё горело, и кругом, казалось, горел воздух, жгучий и душный как в жаркий летний день. Но стена воздвиглась между нами и разделяла нас. Я потихоньку освободился от Верочки, посадил её на диван и сказал:

– Я не отберу денег у дяди. Пусть он держит их у себя. Можешь быть довольна. Ты исполнила свою миссию. Но, милая Верочка, оскорблять твою любовь – нет, Бог с тобой! Будь чиста и безукоризненна в твоей привязанности! Никогда не продавай себя! Любовь гнушается таких жертв!

Я не мог говорить – слёзы стали дрожать в горле, я рыдался.

Она тоже стала плакать.

– Мне стыдно, – говорила она прерывающимся голосом, – что я... не презирай меня...

Она схватила платок с вензелем Сергея Ипполитовича, отёрла слёзы и поднесла к своим губам мою руку.

ХШ

Когда я остался один, чёрная тоска легла мне на душу. Я плакал, завидовал дяде, проклинал судьбу. Наконец, написав Ткаченко, я угрюмо стал собираться в дорогу.

– Что я слышу? Александр, ты уезжаешь? – начал дядя, влетая и любезно улыбаясь.

Я не успел опомниться, как уж он жал мне руку.

– Но надеюсь, мой друг, ты уделишь мне часик и переговоришь со мною... Ведь так нельзя... Мало ли что между родными произойти может. Из-за каждого пустяка ссориться! Ну, поспорились, пора и помириться. Прогони, пожалуйста, твоего Ткаченко... Он груб и Бог знает что затевает... Я вовсе, разумеется, не в безнадёжном положении... Сейчас не могу, но через полгода, много через год я обделаю дела, и увидишь – процвету... Ah, mon cher Alexandre! De grâce!..

Он поцеловал меня.

– Дядя, – начал я взволнованным голосом, – я прекращаю... я утром решил прекратить всё... и взять назад своё требование...

– Спасибо! Душевное спасибо!

Надушенные усы его и борода прижались к моему лицу.

– Александр, я положительно намерен посидеть у тебя – и прикажи подать чаю или кофе... – произнёс он как бы в скобках. – Я озяб... Обрати внимание: весь дрожу... Да и ты дрожишь, мой милый мальчик...

Он бросился на диван.

– Да, да, я знал, что ты должен будешь всё прекратить!.. – начал он, раскрывая скобки. – Ты благородный человек и мог только поступить так, а не иначе. У нас ошибки не могут продолжаться. Было скверное петербургское утро, мы раскисли и повздорили. Сегодня утро немного лучше, и нам пора сознаться, что мы оба не правы... Оба, и я в особенности. Каюсь и закаиваюсь!

Я молча слушал, волнение не покидало меня. Меня опять стала мучить мысль, что дядя сам «наслал» на меня Верочку. «Теперь он играет роль, – думал я, – и может быть не зная, как дорого или дёшево обошлась Верочке моя уступчивость, старается уверить себя и меня, что примирение, такое, какого он желал, состоялось просто от того, что он приехал ко мне и сказал с любезной улыбкой или, вернее, усмешкой: „de grâce!“ – а не от того, что Верочка побывала у меня». Его ласковые, вежливые глаза неотступно следили за мной, и, болтая, он, казалось, хотел прочитать на моём лице, что именно произошло между мной и Верочкой. В смущении я стал курить. Дядя наклонился ко мне, чтобы закурить свою папиросу. Пальцы дрожали, папиросы никак не могли встретиться.

– Дядя, – спросил я, – вы так выразились, как будто знали, что я беру назад... Вам уже сказали?

– О, нет, мой друг, я не знал, – подхватил дядя, сделав строгое лицо, – я ничего не знал... никто не говорил. Разве ты кого посылал ко мне с этим? Никого не было! – тревожно пояснил он. – Но, с другой стороны, я знал, то есть я чувствовал... Руку твою, ещё раз руку, и поскорей стакан горячего чаю!

Он улыбнулся и, найдя мою руку, потряс её.

Иван принёс поднос с чаем, я стал угощать дядю.

– Где ты откопал, cher Alexandre, этого Ткаченко? – начал дядя. – Он как-то вдруг воскрес!.. Воскресший Ткаченко!

Это à la Рокамболь! – пояснил он. – Послушай, что за наёмки делало это грубое существо? Право, я ушам своим не верил... Ты точно влюблён? – спросил он вдруг таинственно и покровительственно, раскосив слегка глаза.

Я покраснел жарким румянцем.

– Не надо было говорить с ним об этом, – произнёс он. – Об этом ни с кем не говорят. Если же я заговорил... то... по необходимости...

Он отхлебнул из стакана и смотрел на меня.

Хоть мы согрелись чаем, но оба продолжали дрожать. Делали всяческие усилия, чтоб победить эту нелепую дрожь, и не могли.

Мне захотелось быть великодушным, благородным, откровенным, правдивым, чтоб навсегда покончить со всей этой ложью и недосказанностью, чтоб развязать руки себе и дяде, чтоб скорее прошла эта непреодолимая и постыдная дрожь.

– Договаривайте, дядя, – вскричал я. – Вас интересует, кого я люблю? Да? Я люблю её, и вы любите её, и мы с вами столкнулись... Не правда ли? Но успокойтесь, я схожу со сцены, потому что любят вас, а не меня. Я побеждён... Берите у меня всё... Зачем мне деньги, когда нет её! Эх, дядя, незавидна тут ваша роль, но Господь вам судья!

– Ты ведь в Бога не веруешь...

– Не придирайтесь к словам, дядя. Будем говорить прямо, станем стеклянными и заглянем друг другу в сердце. Вы

счастливец, вас любит этот бедный ребёнок...

– О ком ты говоришь, Александр? – спросил Сергей Ипполитович с недоумением.

– Дядя, к чему это притворство! Дело идёт о Верочке, о бедном, одиноком ребёнке...

– Александр, ты читаешь мне проповедь.

– Не мучьте меня, дайте высказаться!

Я схватил его за руку и возбуждённо смотрел на него. На лбу его налилась синяя жила, но губы старались благосклонно улыбаться.

– Я хотел поговорить с тобой, но, признаюсь... – сказал он. – Впрочем, продолжай.

– Да неужели же вы станете отпираться! – произнёс я с презрением. – Вы хотели говорить со мной о делах?.. Может быть, хотели *оформить*?

– Ты угадал.

– Вот как! Ну, а я тогда только оформлю, когда вы выслушаете меня...

– Видишь ли, милый, ты горячишься и не даёшь себе отчёта в словах. Вводишь на меня Бог знает что! С тобой трудно говорить... У тебя – извини меня – нет ничего святого...

– А у вас?.. Нет, дядя, я уж не такой нигилист, как вы думаете. Скажите, крепко вы её любите?

– Александр, всё имеет пределы. Ты оскорбляешь меня. Но я у тебя в руках. Хорошо, я отвечу тебе. Я крепко люблю её как свою приёмную дочь...

– Не больше?

– Нет.

– Честное слово?

– Даю тебе честное слово!

Он смотрел мне в глаза, и синяя жила на его лбу, казалось, стала ещё приметнее.

Я выпустил его руку и упал в кресло, измученный и обиженный.

– Ну, а если вы её любили, что бы вы сделали?

– Опять, мой друг, насилие! Что с тобой? Ты влюблён, но я-то причём тут? Ответ я могу, впрочем, дать. Изволь. Ты спрашиваешь, что бы я сделал?

Он встал и проговорил внушительным тоном:

– Никто бы не узнал, что я люблю её, и всё осталось бы по-старому, потому что такая любовь преступна, если она явна. Что тебе ещё сказать, Александр?

Взгляды наши встретились как клинки в поединке, но выдержали встречу и затем разом потупились. Мы долго молчали. Мне жаль было Верочку, и истерическая судорога сжимала мне горло.

– Так вот насчёт дела, друг мой! – любезно и почти весело начал Сергей Ипполитович, дотронувшись до моей руки. – Так как ты уезжаешь сегодня, то не мешало бы...

Но я прервал его. При виде этого благообразного лица, прикрывающего ненависть ко мне милой улыбкой, и этого лба, вспотевшего от сдерживаемой злобы, и этих глаз, горя-

щих стальным блеском, я вышел из себя и закричал:

– Уходите! Всё сделаю, как обещал, но уходите, уходите!

XIV

Опять я в дороге, опять мелькают станции, вёрсты, телеграфные столбы, мосты, города, деревни, леса, реки; опять движется и проходит передо мной тысячная толпа людей, и опять я один.

Я пробовал читать, но мысль о пережитой мною драме неотвязно преследовала меня. Пробовал знакомиться и разговаривать с пассажирами, и вдруг, среди разговора, забывал, о чём идёт речь, и рассеянно смотрел в даль. Примащивался спать, чтоб ничего не видеть, не слышать и не думать, и всё видел её, всё слышал её голос и всё думал, что может быть ещё не всё потеряно.

Не всё!!

Мало-помалу утешительная мысль эта возобладала над всеми другими мыслями моими, и, подъезжая к ***, я уж создал целый план нового похода на сердце Верочки, на этот раз с самым благополучным окончанием. Я сел в санки и помчался по улицам родного города.

Город ласково глядел на меня. После Петербурга, он казался мне таким уютным и весёлым! Синее солнечное небо огромным куполом раскинулось над ним. В спокойном воздухе столбами поднимался дым из труб. Серебристый иней

осыпался на деревьях, подобно белым весенним цветам. Высились заиндевелые тополи, с детства примелькавшиеся дома полуготической, полудачной архитектуры; на пригорке краснело, окружённое дремлющим садом, громадное здание университета. Сердце моё крепко билось.

Когда извозчик подвёз меня к дому, я почувствовал большое удовлетворение. «Лягу и засну», – думал я, разбитый усталостью. Но вдруг мне вспомнился портрет Сергея Ипполитовича. Павел выбежал навстречу. Я торопливо пошёл в Верочкину комнату.

К величайшему моему удивлению, портрет висел над кроватью: он был в такой же бархатной рамке и под тем же овальным гранёным стеклом.

Я с недоумением взглянул на Павла.

– Это вы распорядились?

– Изволили тогда нечаянно ножкой приступить... – начал он.

Комната, недавно бывшая для меня такой таинственной, не представляла теперь ничего загадочного: я знал, отчего улыбается портрет Сергея Ипполитовича, и почему так много этих Сергеев Ипполитовичей на стенах Верочкиной спальни. Но притягательности она не утратила, и я долго стоял здесь, с рыдающей болью в душе, глядя на окружающие меня предметы – на рабочую корзинку Верочки, её цветы, её постель...

Беппо с лаем кинулся ко мне на грудь и вывел меня из

задумчивости. Я обнял его, крепко как человека, и поцеловал. Он прыгал, тыкал в руку холодным носом, и шерсть его лоснилась на солнце.

– Ты мой единственный друг, милый Беппо, ты скучал без меня, похудел... Иди, я накормлю тебя.

На другой день, рано утром, когда ещё не совсем рассвело, и бледный сумрак наполнял комнату серыми тенями, я уж сидел в кресле и писал... к Верочке. В письме я желал ей счастья, заклинал её не сердиться на меня, просил забыть мою назойливую любовь, и опять говорил о любви, и молил позволить мне хоть во сне любить её. Слёзы капали на бумагу, и я со сладостным ужасом посматривал на винтовку, висевшую над кроватью. Затем ложились под перо робкие фразы о том, что я, может, покончу с собою, и тогда пусть она пожалеет меня, потому что я одинок и несчастен. От угроз я переходил ко вздохам, от жалоб к упрёкам. Исписав лист, я разорвал его и принялся писать другое письмо. «Нет, – думал я, – напишу ей просто, что, повинуясь роковой необходимости, я стушёвываюсь, но это не значит, что я способен разлюбить её. Я останусь верен ей, и образ её никогда не умрёт в сердце моем. Ни одна женщина в мире не затмит этого образа, и в каждой капле крови моей он будет отражаться до тех пор, пока кровь будет струиться в жилах, как солнце горит в росе до тех пор, пока она не высохнет». Сравнение это понравилось мне, и, отложив письмо в сторону, я живо набросал стихотворение. В тот день я ходил растрё-

панный, неумытый, погружённый в себя, и голова моя была полна странного угара. Я видел в себе поэта, показавшегося мне серьёзной силой. Печальный и грустный, поэт до глубины души был оскорблён в чистейшем порыве своём. Он был великодушен, он бросил целое состояние врагу и сумел сохранить душевную чистоту там, где враг наверное загрязнился бы. Пошлое блаженство Сергея Ипполитовича ничем не смущено, и на совести Верочки нет пятна. Поэту было чем гордиться. Но он любит, – и слёзы кипят в его сердце, и больно ему, и негодует он, и хочет отомстить врагу. О, если бы заронить сомнение в грудь бедного ребёнка, открыть ему глаза, показать, до чего мелок и ничтожен Сергей Ипполитович, и как он порочен! Я стал припоминать слухи о Сергее Ипполитовиче, которым прежде не хотел верить и которым верил теперь от всей души. Огромный обвинительный акт против дяди быстро сложился в моём уме. Я сравнивал его и себя, и удивлялся, как можно было предпочесть мне этого старого сатира. Рисуюсь пред самим собою, закутанный в поэтический плащ, я предвкушал сладость будущего. В один прекрасный день я сорву маску с негодяя: я выслежу его, и пусть тогда Верочка увидит, кто погубил её. Разумеется, она заболит с горя и отчаяния, но тут явлюсь я и протяну ей руку.

Минуло несколько дней, угар мой не проходил. Я получил от дядя «ласковое» письмо: он извещал меня, что дело, ради которого он, главным образом, уехал в Петербург, устро-

илось, и финансы его поправились. Формальность, о которой говорилось тогда в Петербурге, пустячная. В качестве совершеннолетнего я войду с ним в компанию или просто получу векселя. О Верочке не упоминалось ни слова. Вообще тон письма был такой, как будто между нами ничего не произошло.

Я отвечал в том же тоне и просил передать письмо Верочке, которое послал на имя дяди. При всём своём неуважении к дяде, я не сомневался, что письмо будет передано.

Ещё прошло несколько дней. Трудно описать, что происходило со мною в это время. Я пристрастился к стихам и в короткий срок написал их множество. Здоровье своё я решительно расстроил и был бледен как смерть; жизнь сохранялась только в лихорадочно горевших глазах. Днём я слонялся по городу, ночи не спал, а если и спал, то тревожным сном.

Однажды я не мог заснуть до зари. Я видел, как за стволами деревьев блеснула серая полоса рассвета, и ночной мрак тихо отступил. Голова моя горела, в глазах рябило, я нехотя разделся и лёг. Но и в постели я не мог заснуть. Ясный сумрак утра заалел, и золотые лучи солнца, пробившись сквозь намёрзлые стёкла, рассыпались на столе и на полу, а я всё лежал, глядя в пространство и лелея несбыточные мечты.

Беппо заворчал, и затем послышался отчётливый стук в дверь.

– Кто там?

Вместо ответа, повернулась ручка, и вошла высокая дама в атласной шубке и модной шляпке с пером. Она вошла, застенчиво смеясь, хотя, очевидно, и решила не стесняться, потому что прямо направилась ко мне. Подойдя, она села на кровать.

Поволоцкая!

– Ольга Сократовна, что это значит? Я сплю...

Она тихо начала:

– Как не стыдно вам, Саша... Мало того, что вы ни разу не явились ко мне, но и теперь конфузите меня... вопросами...

Встав, она сняла шляпку, не спуская с меня глаз, и сняла шубку. Она улыбалась, и странная улыбка Ольги Сократовны заставила меня подумать, уж не сошла ли она с ума. Эта мысль мелькнула на мгновение, но, вместе с чувством страха, во мне загорелось другое чувство.

Я сам улыбнулся ей в ответ. Голова моя кружилась от бессонницы, я готов был думать, что это сон...

Но когда всё прошло, – мне стало гадко и стыдно до слёз...

Ольга Сократовна, уходя, в дверях, к моему ужасу, встретилась с Верочкой. Не впуская её, она объявила, что я в постели.

– Представь, Вера, какой он сурок! Он спит по целым дням, и моя опека из самых неудачных! Удрал от меня в Петербург, – вообще невозможен. А вы только что приехали, да? С утренним поездом? Как ты похорошела, Вера!

Я слышал, как прозвучал дружеский поцелуй.

Ольга Сократовна вышла из затруднения, но я был уничтожен.

XV

Жизнь состоит из ряда неожиданностей; по крайней мере, я должен сказать это о моей жизни. Всё, что я задумывал, не удавалось, и дела мои принимали непредвиденный оборот. Может быть, если стать на известную высоту и оттуда посмотреть на жизнь, как орёл смотрит на облака, окутывающие подошву скалы, на которой он свил гнездо, то жизнь и представит из себя нечто совершающееся по определённым и строгим законам. Может быть, моя жизнь, несмотря на всю свою беспорядочность, представила бы тоже некоторую логичность и обоснованность явлений, как выражаются книжные люди. Но теперь, когда я записываю эти «явления», они мне кажутся хаосом, и от их безалаберности больно становится на душе. Их «логика» мучительна. Оглядываясь, я вижу, что вот тогда следовало бы поступить так-то, а в другой раз иначе. Рассудочная логика, у которой всё делается как по маслу, не мирится и не признаёт житейскую логику, капризную как осеннее небо, на которое я теперь смотрю с такой щемящей и надрывающей сердце тоской.

Да, осень. Жёлтый лист влетел в отворённое окно и кружась упал на не застланную постель; в прозрачном воздухе, выделяясь на мутно-голубом фоне далёкого леса, сверкает

и медленно плывёт паутина. Две недели живу я здесь, в гробообразном мезонине этой дачи, недалеко от ***, на самом берегу Днепра. Со времени же последних событий прошла уже целая вечность – прошло полтора года.

Не особенно любопытна повесть моей жизни за этот долгий промежуток времени. Понятно, я даже избегал видаться с Верочкой. При ней на меня нападала непреодолимая робость, а она потупляла глаза и была холодна как чужая. Положение моё стало невыносимо, я перевёлся в Петербург. Сергей Ипполитович получил хорошее место в ***, он был избран директором одной свеклосахарной компании, пристроился к агентуре богатого страхового общества, сделал, как писал мне, несколько удачных сделок на Сретенской ярмарке, бывающей ежегодно в ***, – и в деньгах я не нуждался. Однако, Ткаченко, которого я встретил в марте или апреле на Невском проспекте, погрозил мне кулаком и предсказал, что долго это продолжаться не будет. Я ездил на воды за границу, провёл лето в Италии и Швейцарии. Зимой я пристально работал в химической лаборатории, мне хотелось забыться и всецело отдаться чему-нибудь. Я жил уединённой жизнью, нигде не бывал и у себя никого не принимал. Меня как червь грызла мысль, что в глазах Верочки я такой же пошляк, как и все, и что этого ничем уж нельзя поправить; потому что тут невозможны оправдания и смешны объяснения.

Разумеется, в своих собственных глазах я не был ни по-

шл, ни виновен. Я сумел себя обелить. Да и время тоже что-нибудь значило. Я привык, оправдываясь пред самим собою, ссылаться мысленно на поведение Верочки. Хоть поведение это заключалось в безотчётной любви её к Сергею Ипполитовичу, однако, мне казалось оно предосудительным.

Вообще я, должно быть, охладевал к Верочке. Часто я разбирал её со всех сторон. Конечно, она была хороша, не по летам женственна, обаятельна и грациозна. Но всё же она... но впечатление, произведённое на неё дядей...

«Нет, – восклицал я, ударяя кулаком по письменному столу, – как она смеет презирать меня за пассаж с Ольгой Соколатовой!..»

О «пассаже», надо заметить, у нас и разговора не было, а о том, что она презирает меня, я впервые слышал от самого себя.

Петербургские дни мелькали, серые и коротенькие, как осенние пейзажи, мелькающие из окна вагона курьерского поезда, безотрадные и тоскливые. Время летело, и не успел я оглянуться, как уже на носу полукурсовые экзамены. Миновали экзамены, и вот уже северный жаркий июнь гонит петербуржца вон из города.

Я поселился в Озерках.

Как-то вечером, в лунные сумерки, я сидел в саду за столиком против эстрады и слушал музыку. Играл оркестр. В летнюю ночную тишину сладко вливались красивые звуки, и я забылся.

Но возле меня сел плотный мужчина в соломенной шляпе и дотронулся до моего плеча.

– Земляк!

Я вздрогнул и узнал Кузьму Антоновича. На этот раз я совсем не обрадовался ему.

– Будете пить?

Я отрицательно покачал головой. Впрочем, отделаться от Кузьмы Антоновича уж нельзя было, и завязался разговор. Кузьма Антонович объявил, что он тоже живёт в Озерках, вместе, разумеется, с Алиной Патрикеевной, и что дела у него теперь «важнецкие». В августе он поедет на юг, в качестве ревизора страховых отделений.

– Я теперь в правлении служу, – прибавил он. – Я этого целый год добивался, проект сочинил, и вот, наконец, удостоился... Правда, что пока еду не один, а так сказать – помощником... при особе!

Он значительно поднял палец. Помолчав и осушив стакан дешёвого вина, он сказал:

– Всё-таки Сергею Ипполитовичу я теперь в некотором роде начальство...

Музыка замирала, Кузьма Антонович молча осушил другой стакан вина. Когда оркестр кончил, раздались рукоплескания, и Кузьма Антонович, вставая, произнёс:

– Кажется, Алина Патрикеевна разыскивает меня... Я тут, Галю, гоу! Дурная, не бачит. Гоу! – кричал он, не стесняясь. – Нуте, до свиданья, Александр Платонович. Жаль мне вас,

скажу вам откровенно. Сглупили вы тогда малую малость... Гоу! Галю, да ну ж, подожди!

Разумеется, Алина Патрикеевна слышала возгласы своего супруга, но они должны были резать её благовоспитанное ухо. Я видел вдали закаменевшее суровое лицо её, облитое молочным светом электрического фонаря. Наконец, Кузьма Антонович подошёл к ней, она отвернулась, и я потерял их из виду.

Предсказание Ткаченко, что недолго я буду получать аккуратно деньги от Сергея Ипполитовича, между тем, начало сбываться. Уже в июне я получил, вместо двухсот рублей, девяносто, в июле – ничего. Я стал беспокоиться, написал несколько писем и телеграмм, и, наконец, пришла повестка – на пятьдесят рублей. В письме дядя обещал не задерживать денег, но в августе опять не было ни копейки. Тогда, встретившись с Ткаченко, я рассказал ему о своём положении.

– Ага! – произнёс он и стал хохотать радостным смехом, держась за живот. – Постойте, ещё не то будет! – вопил он.

– Я не понимаю этого смеха! – сказал я с сердцем.

Через день я выехал из Озерков. Я увидел, что мне необходимо самому побывать в *** и упорядочить мои финансы. Не желая на будущее время оставаться по месяцам без денег, я хотел взять у дяди половину капитала и положить долгосрочным вкладом в солидный банк. Мне это не представлялось особенно затруднительным. Однако, когда на одной станции я столкнулся с Ткаченко, который, оказалось, тоже

ехал в ***, вместе с «особой», и победоносно посмотрел на меня, сердце моё забилося от страха.

В *** я приехал в полдень. Дяди уже не было дома, и Павел, увидев меня, превратился в сфинкса. Положительно можно было сказать, при взгляде на его лицо, что на нём написана целая история нашего дома, или, вернее, его скандальная хроника; и потому, что это пошлое лицо, к которому у меня вернулось прежнее отвращение, было особенно загадочно, я заключил, что случилось ещё что-то.

– А Вера Константиновна где? – спросил я.

– На даче, – отвечал он.

– Давно?

– С начала лета.

– Здорова?

Он не ответил.

– А Эмма?

Он пожал плечами и торопливо стал вешать моё пальто. Я опустил руку в карман, Павел следил за нею искоса. Но в кармане ничего не оказалось, и Павел нашёл множество неотложных дел, которые помешали ему отвечать на мои вопросы. Особенно усердно соскребал он ногтем большого пальца стеариновое пятно с ковра.

Я рассердился.

– Скажи, по крайней мере, где на даче?

– В Памфиловке, – произнёс он небрежно.

Я отправился в контору страхового общества, и дядя вы-

бежал ко мне в приёмную на минутку. Он был всё также благообразен и также по-джентльменски встретил меня. Он немного изменился: в лице прибавилось краски, он стал тучнее, и на висках ярко белели волосы. Дядя вынул бумажник, дал мне сотенную, и, когда я рассказал о своём намерении взять у него половину капитала, он поспешил уверить, что никаких препятствий не будет, и разве что придётся повременить недели две.

Я сообщил ему, что едут ревизоры.

– Знаю, знаю! – воскликнул он с усмешкой.

– Ткаченко... – начал я.

Но он не дал мне кончить, махнул любезно рукой как человек по горло занятый и ушёл, крикнув:

– До скорого свиданья!

Меня ободрила встреча дяди. Он не боится ревизии, дела его в порядке, и, значит, деньги я получу.

Так как флигель, в котором я когда-то жил, был заброшен, то я остановился в гостинице. Весь следующий день я ходил по городу, который за эти полтора года ещё лучше обстроился. Пообедав, вечером я заехал к дяде. Дяди опять не было, а Павел стал непроницаемее вчерашнего. Впрочем, трёхрублёвка произвела некоторое действие.

Я узнал тревожную новость: Анна Спиридоновна, мать Верочки, должна была приехать из Парижа не сегодня-завтра. Воображаю, что переживал Сергей Ипполитович, и в каком состоянии находилась Верочка!

Я задумчиво посмотрел на Павла. Он похлопал глазами, и усмешка или скорее тень усмешки пробежала по его губам.

– Это m-lle Эмма поехали за границу и, должно быть, заскочили в Париж, да Anne Спиридоновне и насплетничали чего-нибудь. Не иначе что так, – промолвил Павел. – Ссоры вышли большие с Эммой у Веры Константиновны...

«Экий омут!» – подумал я, глянув на пустые комнаты.

Я решил сократить своё требование почти наполовину: достаточно будет и пятнадцати тысяч.

– Передай Сергею Ипполитовичу, что буду у него завтра в десять часов.

Но когда утром я явился в десять часов, наш дом был опечатан. Дядя неизвестно куда скрылся.

Его положение было ужасно. Ткаченко обнаружил в кассе большой недочёт. Вскоре, однако, я увидел, что дядя гораздо лучше сделал бы, если бы вlepил себе пулю в лоб.

Прежде всего я поскакал в Памфиловку. Былая страсть с неудержимой силой проснулась во мне. Я заступник, я естественный покровитель Верочки. Надо оберечь её покой, оградить её, бедную, от новых испытаний.

Дача, в русско-швейцарском стиле, стояла на припёке, балконом в сад. Я торопливо прошёл через какую-то комнату. Слух мой поразили стоны, ужасные и мучительные, которые, казалось, неслись со всех сторон. Вдруг они замирали и вдруг вырастали опять. Порою их прерывало глухое ворчанье пса. Дыханье моё пресеклось.

Анна Спиридоновна, которую я сейчас же узнал по её цыганскому лицу, несмотря на то, что оно и пожелтело, и постарело, кричала на Мункина, акушера, поэтическая физиономия которого дёргалась от страха и злости. Крупные слёзы текли по щекам цыганки, и голос её хрипел. Беппо не спускал глаз с Мункина.

– Негодяй, этот негодяй, он убил её! – вся трепеща, обратилась она ко мне, хоть едва ли узнала меня. – Что они сделали с ребёнком моим! Дочь мою! Отдайте мне дочь мою! – вопила она, подбегая к модному акушеру.

Тот, в виде щита, боязливо протягивал руки. Беппо, увидавший меня, завизжал и замахал хвостом; но как только Мункин сделал шаг, он грозно заворчал; кажется, ему нравилась эта охота на человека.

– Сударыня, клянусь вам, ну, уверяю вас моим благородным словом, что барышня будет жива! – говорил доктор заикаясь. – Я же знаю, мне же разве это в первый раз. Пссс! Господин студент... Молодой человек, прошу вас, избавляйте меня от этого злого собаки... Вы будете отвечать... Ну, ты, как тебя... собачка! Пошла вон!

– Убийцы, развратители! На виселицу мало вас! – кричала Анна Спиридоновна, изнемогая от гнева и отчаяния. – Зачем это было делать! А я, хороша я! Оставила ребёнка извергам на забаву!

Она страшными глазами взглянула на меня. Стон донёлся на балкон: то был Верочкин голос. Я инстинктивно сжал

кулаки, мне хотелось броситься на Мункина. Этого было достаточно, чтобы Беппо опрокинул его. Мункин с криком покатился по террасе, а Анна Спиридоновна и я побежали туда, где стонала Верочка.

И я увидел Верочку...

Она лежала в полутёмной комнате, где воздух пахнул кровью. Бледная голова её с глубоко запавшими глазами слегка свесилась. Зрачки были расширены от боли и испуга, чёрные губы судорожно втянуты. Худые руки ловили одеяло, всё её тело потрясалось ужас наводящею дрожью.

Через несколько секунд, заметив мать, припавшую к её ногам, она стала мотать головой. Сиделка вышла из тёмного угла и попросила Анну Спиридоновну не беспокоить умирающую. Но Анна Спиридоновна разразилась в ответ рыданиями и, схватив себя за волосы, выбежала из спальни.

Это всё, что я помню... Да ещё мерещатся мне глаза Верочки, с наворачнувшимися слезами, остановившиеся в недоумении и страхе на мне.

Затем, как я очутился в этой гробообразной комнатке, и кто положил мне компресс на голову, я до сих пор не знаю и – не старался узнавать...

И вот после того, как похоронили Верочку, две недели лежу я здесь, нищий сердцем и нищий в буквальном смысле, больной и печальный, и каждый день смотрю грустным взором на это капризное осеннее небо.

Жизни ещё много впереди, но она уж мне надоела.

1884 z.